

ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА

М 29

ИСПАНИЯ

Х. МАТИНЕС-СИЕРРА
G. MARTINEZ-SIERRA

БЛАГОСЛОВЕННАЯ
ВЕСНА

И ДРУГИЕ РАССКАЗЫ

БЕРЛИН
М С М Х Х П

41411/16°



Маш
86-3
МЗ
ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Х. МАРТИНЕС-СИЕРРА

G. MARTINEZ-SIERRA

БЛАГОСЛОВЕННАЯ
ВЕСНА

И ДРУГИЕ РАССКАЗЫ

ПОД РЕДАКЦИЕЙ
А. СЕРЕБРОВА
ПРЕДИСЛОВИЕ
Е. А. ФРЕНКЕЛЬ

БЕРЛИН
МСМХХІІ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО



ПРЕДИСЛОВИЕ.

Мартинес Сьерра принадлежит к поколению молодых современных писателей Испании, среди которых он выделяется мастерством, художественным блеском и богатством прозы, легко и часто у него приобретающей музыкальный ритм «стихотворения в прозе».

Не трудно различить в трех рассказах, помещенных в этой книжке, основные черты художественного мироощущения, определяющие литературную физиономию Мартинеса Сьерры.

«Благословенная весна» — рассказ о том, как молодой террорист-революционер, задумавший, ради освобождения народа, убить ударом кинжала короля, — невольно и незаметно для себя поддается очарованию весеннего солнечного дня: как он увлекается впечатлениями весеннего карнавала, во время которого он должен был напасть на короля при его проезде на народное гулянье; как, забывши для чего он сам явился на гулянье, он пропускает время королевского проезда, увлекшись прогулкой по морскому берегу с незнакомой молодой красивой женщиной.

С одной стороны — «Народ, освобожденный удачным кровопусканием! Сердце короля, пронзенное его рукой! И собственная жизнь, прине-

сенная в жертву официальному мнению, — одному Богу известно, с каким страстным и высоким наслаждением!» — Герой с молоком матери воспринял набожность и потому — поясняет автор — говорил «известно Богу», вместо «известно мне»...

С другой стороны — «Любовь носилась в воздухе и от нее некуда было уйти; улицы звенели многоголосым шумом карнавальского безумия: крики, музыка, грохот колес, рев невероятных труб, гул говора и пения» и «женщины, полные того же дерзкого веселья, что и солнце, словно не касаясь земли, двигались в упругом и звонком воздухе, отдаваясь его ласке и сами лаская все, на что падали их бархатные взоры».

И когда он очнулся — «они стояли на берегу моря очень далеко от шума главной аллеи... и было слишком поздно убивать короля, который, наверное, уже давно вернулся во дворец».

Так очарование весеннего солнечного дня спасло от смерти короля и от преступления героя рассказа, — в этой благотворной силе радостных и светлых впечатлений жизни, — основной мотив не только этого рассказа, но и всего художественного творчества Мартинеса Сьерры.

В «Башне из слоновой кости»¹⁾ мы находим столь же резкое противопоставление: злой гений молодого «маркизика», мать его, угрюмая маркиза, олицетворяющая фанатическую, мрачную религиозность и кастовые предрассудки старой Испании, а рядом с нею — молодая, жизнерадостная Мариана, рвущая с дерева жизни ароматные цветы радости и счастья для себя и для «марки-

зика», погибающего на распутье между деспотической любовью матери и возрождающей любовью к Мариане.

И еще больше молодости и радости в «Приключении», — несложной сельской идиллии, протекающей среди летнего цветущего пейзажа, родной автору Астурии, столь непохожей на выжженную солнцем, пустынную и молчаливую Кастилию.

В этой свежести и роскоши природы Астурии можно найти объяснение жизнерадостности Сьерры, столь отличающей его от писателей Кастилии.

Глубоко и страстно веря в самодовлеющую высшую ценность художественного творчества, Мартинес Сьерра, влюбленный в звуки и краски жизни, ставит выше ее только это творчество, раскрывающее радостные тайны бытия.

Между человеком и жизнью Мартинес Сьерра знает только одно посредствующее звено:

— Слово.

«Слова — говорит св. Августин — изящные и драгоценные сосуды».

«Слова — говорит Мартинес Сьерра — верные друзья, преданные спутники наши в одиночестве, голоса музыки и чудесных откровений мысли. Я наслаждаюсь, повторяя прекрасные слова, как наслаждаюсь созерцанием цветов. Есть слова, могущие усладить часы печали, как отрадные воспоминания; есть неясные, как неопределенные надежды, содержание которых проходило и изменялось, как будто значат они не то, что должны были бы значить, как будто ждут они нового, настоящего, истинного смысла, который совпадает с их внешней красотой, как совершеннейшая рифма; есть великолепные слова, опозоренные

¹⁾ Выражение, употребляемое для обозначения неприступности и замкнутости.

недостойными и пошлыми значениями; есть павшие с высоты былого благородства, загрязненные и извращенные варварским употреблением».

Характеризуя каталанского писателя Сантьяго Русиньоля, Мартинес Сьерра дает верный отзыв о своем собственном литературном таланте:

«Нет ни одного современного писателя, — говорит он, — который был бы мне более сродни, чем Русиньоля. Этот художник-поэт видит душу вещей так же, как и я, и рассказывает то, что видел, так, как я это хотел бы рассказать: свежо, просто, непринужденно, с очарованием только что распустившихся цветов или мыслей, рождающихся свободно и мгновенно под пером, бегущим по бумаге. Сантьяго Русиньоля в своей литературе любит цветы и любит детей, любит улыбающиеся сады и любит развалины, туманы, кипарисы, любит все, что есть радостного, и все, что есть печального».

Достаточно прочесть «Прелюдию», «Интермедию» и «Серенаду» (в «Приключении»), чтоб убедиться, что в этих словах нет самообольщения: какая-то утренняя свежесть, музыка художественной прозы, свободная, как летняя игра солнечных лучей в речной воде и зелени деревьев, сближают эти страницы с народной песней и с лучшими художественными произведениями, вдохновенными народным творчеством и неподдельным, ярким чувством красоты природы.

Евг. А. Френкель.

БЛАГОСЛОВЕННАЯ ВЕСНА.

Когда он открыл глаза, солнечный луч, шаловливо, дерзко-смотривший в окно, привел его в дурное настроение: он бессознательно надеялся, что соучастником его черных замыслов будет серое небо, а вместо этого его встречает почти женское легкомыслие первого весеннего дня! Надо сказать, что первый день весны был, вдобавок, днем карнавала в маленьком, веселом городке с лазурным морем и цветущими апельсиновыми рощами, в резиденции королевства, название которого — в конце концов, оно не более, как звук! — можно обойти молчанием.

Весенний трепет февральского дня неожиданно и внезапно сменил долгую скуку необычайно токсичной зимы. С конца сентября с неимоверным упорством шел дождь; во всем королевстве, благоприятствуемые сыростью, разрослись грибы и философские рассуждения; некоторые монахи почувствовали влечение к ереси Лютера, а многие счастливые любовники дошли до мыслей о самоубийстве. Словом, у народа, привыкшего, чтобы мозги его жарились на солнце, под тяжким действием дождя, лившего целую треть года, потускнел весь чистый металл коллективного оптимизма.

Загнанные упорной немилостью хмурого неба в дома, гуляки-мужчины принялись мучить бедных женщин своими философствованиями, неминуемо пессимистическими, ибо известно, что кто философствует случайно, тот выскакивает из лабиринта мысли, в отчаянии схватившись руками за голову. А бедняжки жены, напуганные неожиданным глубокомыслием, с которым их мужья, еще в прошлом году столь непоследовательные, в этом, под влиянием тайных чувств, отравляли малейший пустяк, — бедняжки жены ходили растерянные и грустные, и даже немножко растрепанные, потому что сырость — непримиримый враг завитых горячим способом волос.

Итак, была печальная, унылая зима, полная едкой критики и нетерпимости. Небо в столице казалось таким же грязным, как земля; с покорностью отчаяния, в какое обычно впадают счастливые люди перед лицом страдания, жители, погруженные в серую мглу, дошли до того, что стали считать синее небо парадоксом и бормотали, растравляя собственную муку:

— Дождь будет идти вечно; солнце никогда не выглянет.

А оно выглянуло, с дерзкой веселостью возлюбленной, которая ушла, потому что ей так захотелось, и вернулась, потому что ей так вздумалось. Выглянуло, вполне уверенное, что уже одним появлением своим заслужит не прощенье даже, а благодарность. Выглянуло — и принесло с собой весну, в то самое утро, когда первый луч его раздосадовал героя этой истории, столь же правильной, как и всякая другая.

Герой был высокий бронец, с матово-бледным лицом, изможденным усиленными занятиями наукой. И в черных глазах его горела искра, кото-

рую зажигает мечта, опаснейшая из всех: мечта облагодетельствовать человечество, хотя бы ценою собственной жизни!

Окно, в которое смотрело утреннее солнце, освещало комнату наипочтеннейшей бедности, какой может быть только бедность добровольная: узенькая железная кровать под белым одеялом; на строгой наготе простого стола — четыре книги и бессильный протест пышных роз в грубом глиняном кувшине. На серой стене маленькое зеркальце, перед которым, после обильных омовений, герой тщательно пригладил свои волосы, вившиеся крупными волнами, из тех, что некоторые поэты красиво называли «живыми» и что будят грезу о шелковистой ласке нежных рук.

Причесываясь перед зеркалом, отражавшим солнце, он размышлял о том, как нелепа его досада: если бы не проявилось хмурое небо, не могли бы состояться карнавальное увеселение с традиционной кавалькадой, а в дождь король не выехал бы принять участие в народных танцах, как подобает милостивому монарху. Значит, солнце, встреченное им с недовольной гримасой, является не более, не менее, как его сообщником, и вполне заслуживает благодарности. Дойдя до этого пункта, размышления героя выкристаллизовались в лирическое воспоминание, и невольно он произнес вслух звучные слова поэта: «Привет тебе, благословенное, победное светило!» — с таким пылким восторгом, что даже выступили на глазах слезы. Это снова вызвало в нем сильную досаду, потому что — рассуждал он, поспешно окончив туалет и распахнув окно, — «сегодня не должно быть места лиризму и сантиментам».

Широкими струями ворвался воздух, теплый и благоухающий весной, волнуящим обновлением жизни, чем-то терпким, незрелым — соком еще не совсем позеленевших стеблей, клеєм листьев, не успевших расправить заложенные в почке складки. Герой, против воли своей, впивал теплую струю такими глубокими вдоханиями, что они казались почти скорбными вздохами, и потягивался медлительно и томно, как кошка, когда ее гладят.

Но на этот раз реакцией сознания была не досада, а гнев, какой пробуждает угрызение в душах, мнящих себя твердыми.

«Возможно ли! Все это умирание чувств из-за глотка теплого и благоуханного воздуха? Нет! Нет!» — и порывисто захлопнул окно.

«Будем сильны!».

И, чтобы обрести эту силу, он отыскал то, что должно было быть ее орудием: маленький, черненький мавританский кинжал с тонкими золотыми арабесками, с твердым и гибким, как живое существо, лезвием.

«Точно пламя», — подумал он и думал дальше, что это чудесное оружие вполне достойно пронзить грудь развратного, жестокого и деспотического короля. Еще бы не достойно! Пожалуй, сердце помазанника, — обиталище низких страстей, мелкой злобы, вздорных и эгоистических причуд, и не заслуживает такого прекрасного кинжала. Потому, что он был безусловно, определенно, гармонически прекрасен, как стихи, как женщина, как мысль, осуществленная в совершенной форме!.. Мало пользы захлопывать окно, если весна уже успела пробраться в комнату.

Герой отдавал себе отчет, что все эти эстетические отклонения мало имеют общего с «красной лихорадкой», всю зиму воспалявшей его кровь, и еще в истекшую ночь томившей его кошмаром. Эта лихорадка состояла наполовину из любви и наполовину из жажды убийства; она еще вчера заставляла его вздрагивать и задыхаться при мысли об алой и горячей крови, бьющей из королевской раны, и о народе, освобожденном удачным кровопусканием.

Освобожденный народ! Сердце короля, пронзенное его рукой! И собственная жизнь, принесенная в жертву официальному мщению, одному Богу известно, с каким страстным и высоким наслаждением!

Герой всосал молоко набожной матери и все еще говорил: «известно Богу», вместо — «известно мне».

— О, благодетельный пыл, где ты?

Он сел, оперся руками на стол, закрыл ими лицо и громко окликнул себя, чтобы вызвать красный лихорадочный озноб. Тщетное усилие! Напрасно он заранее комбинировал детали момента, действия, движения; мысль о предстоящем акте утратила всякую пластичность, как в театральном представлении, когда актеры, изображая перипетии сна, движутся бесшумно и в полусвете за зеленой газовой завесой.

— Тем лучше! — успокоил он себя и встал. — Так я убью его в полном самообладании, без волнения, не отуманенный страстью, а спокойно и хладнокровно, как подобает человеку, исполняющему нравственный долг... и вдобавок — не промахнусь!

Удовлетворив этим софизмом совесть, герой положил кинжал, легонько его погладив, в левый карман, у сердца, вынул из кувшина розу и вышел на улицу. Его ослепила точно отшлифованная солнцем синева неба; он поднес к глазам руку, в которой держал розу, и, ощутив свежесть лепестков, почувствовал, что веки у него горят, как после любовной или бессонной ночи.

— А между тем, я спал шесть часов, а любовь... — гордая, целомудренная улыбка закончила фразу к полному его удовлетворению.

А между тем... любовь носилась в воздухе, и от нее некуда было уйти. Улицы звенели многоголосым шумом карнавального безумия: крики, музыка, грохот колес, рев невероятных труб, гул говора и пения. Порывы легкого ветерка изредка приподнимали маски и развевали дразнящие кисейные воланы. Женщины, полные того же дерзкого веселья, что и солнце, проходили, точно паря в упругом и звонком воздухе, «отчечаненном, как песня», по выражению Эмерсона, отдаваясь его ласке и сами лаская все, на что падал их бархатный взор. Пронизанная стрелами томных женских взглядов, вся атмосфера зыбилась от сильной вибрации, и самые слова точно раскалывались и плыли, превращаясь в лоскутки или цветы, или звезды, или брильянты, и сталкивались с волнующим звуком... В один час интенсивного трепетанья чувств город вознаграждал себя за весь вынужденный спиритуализм томительной зимы.

В ожидании момента, герой позавтракал в кафе, заботливо поставив на это время розу в стакан с водой. Зал был почти пуст, потому что большинство посетителей наслаждалось солнцем за столиками, выставленными на улицу. На прощанье

с жизненными утехами он, улыбнувшись, заказал десерт: чашку крепчайшего кофе, уже давно за-прещенного ему врачами, и провел полчаса, с неизяснимым наслаждением потягивая этот яд. Сердцебиение, вызванное напитком, пробудило в нем исчезнувшее волнение, нетерпеливую жажду убийства, и, страстно призывая момент удара, он, как любовник, начал бояться, что небо омрачится, что поднимется ветер, что что-нибудь на земле или на небе — предчувствие, болезнь, каприз — помешает выезду короля. Одну минуту он подумал, что король может скоростижно умереть, естественной смертью, или от какой-нибудь случайности, и испытал почти нечеловеческую тревогу при мысли об этой возможности, избавляющей его от преступления. Нет. Смерть короля должна быть делом высшей справедливости, примерной карой, ярким выражением мщения всего народа — больше! — всего человечества, оскорбляемого тиранней глупца.

И он взглянул на небо с пламенем безмолвной молитвы в глазах. Да, он, атеист по убеждению, позволил себе молиться, чтобы король не остался дома; он страстно желал существования сверхъестественных сил, чтобы взывать к ним, ища правосудного общинчества, как нестерпимо страдающий человек ищет утешения. И снова на мгновение перестрадал боль долгих лет сомнений, в расцвете юности — от двадцати до двадцати пяти лет — приведших его от веры к отрицанию.

Прижав к груди руку, чтобы облегчить невыносимое беспокойство, он ощутил твердую форму кинжала, и его потрясла волна такой невыразимой нежности, что он прижал к сердцу стальное лезвие, как руку любимой. Почти липаясь чувств

от восторга, он вынул кинжал, теплый, поцеловал его, как святыню, долго смотрел на него с благоговением и вышел на улицу, забыв розу в стакане.

В дверях он столкнулся с женщиной: из вежливости поднял глаза и извинился. Она была маленькая и кругленькая блондинка, с синевато-серыми глазами. Большой рот обнажал в улыбку ослепительно белые, острые, чуть-чуть неровные зубы. Одета в голубое платье из дешевой материи, но изящно сшитое; пожалуй, немножко великоват вырез у ворота; шляпа вся в розах; кроткий взгляд и вольная походка.

— Как ты спешишь, молодец!

— Ба! Одна из тех несчастных...

Герой питал некоторый страх, смешанный с жалостью, именно к этим «несчастливым»; а отсюда — величайшее отвращение к развращенным цивилизациям, которые, — думал он, — усложняя жизнь, вынуждают слабых женщин продавать то, что, по словам Бальзака, «создано, чтобы быть свободным даром». Цивилизации, конституции, монархии... да, да, благо твое дело, мавританский кинжал, свято твое пламя, жертвенный рубин — рана, которой ты вскрыешь грудь одного, ради счастья многих!..

На улицах густая толпа уже кипела в бурливом брожении; утратив всякую индивидуальную духовность, уже сформировавшись беспорядочный зверь, составленный из сращения сотни тысяч тяжело дышащих тел с одной похотливой и глупой душой. Сверху полуденное солнце изливало на него тепло; ясность неба ненарушаемой лазури казалась высочайшей иронией. Зверь направлялся к Парку, разумеется, не в поисках новорожденной весенней тени.

В Парк направился также и герой, говоря с самим собой и держа наготове кинжал, переложенный из грудного кармана в боковой; окончательно превратившись в пламя, он жег ему пальцы.

— Ах, жар, лихорадка, алканье и жажда справедливости — будьте благословенны!

Горсть ошипанных цветочных лепестков ударила ему в лицо, заставила закрыть глаза, попала в рот, полураскрытый, чтобы дать выход сердечному волнению. Нападение сопровождалось серебристым женским смехом. А враг — блондинка в голубом... Герой взглянул на нее с некоторым изумлением, она на его — с веселым задором:

— И ты пришел посмотреть на маски?

Голос — герой уже заметил это, когда она назвала его «молodчиком» у двери кафе — был немощно резковатый, но, на его слух — странно волнующий; от его звука по телу пробежал какой-то холодок, как бывает, когда укусишь зеленое яблоко. Да и бело-янтарная шейка, и янтарно-розовое личико были в бархатистом пушке, как незрелый плод; а невысокая, округлая грудь...

Хлынувшая за проехавшей каретой толпа отгнала женщину.

— Как долго не едет король!

— Во дворце был банкет. Но он приедет, он до смерти любит ряженых.

— Вот несут цветы для королевской беседки!

Беседка находилась на главной аллее Парка. По обеим сторонам ее фантастической стражей стояли огромные пихты; за пихтами начинались кустарники; зябкие ветки их уже покрывались нежными, как пух, листочками; их легкие тени целовали мрамор статуй. Широкая аллея внезапно обрывалась в глубине, как будто в том месте

кончалась земля, и она, действительно, кончалась, потому что прямо от подножия последней пихты простиралось море...

— Море! Как счастливы могли бы быть народы, которым дано было поселиться на теплых берегах, если бы, отрешившись от политических сложностей и псевдосоциальных условностей, пожелали жить в свободе и любви! Свобода, простота, возвращение к здоровой жизни, под кровом материнской любви природы — сколько крови будет нам стоить вернуть все это тебе, о человечество, свернувшее с правильного пути!

— Ну, милый мой, ясно, что мы рождены друг для друга. Три встречи в полчаса! Что это ты декламируешь с таким вдохновенным видом? Подем вместе смотреть ряженных.

Не дожидаясь ответа, «несчастливая» схватила под руку ошеломленного героя. Он хотел протестовать — только этого не доставало! — но жест ее был властен, а сквозь голубую ткань он ощутил теплое прикосновение, взбудоражившее голую плоть царевны.

Она расхохоталась при виде его растерянного лица. А некоторые женщины в смехе своем держали ключи от сердец.

— Не бойся, дружок, я никого не ем...

Острые зубы как будто красноречиво утверждали обратное.

— А тем более тебя, потому что ты мне очень симпатичен! Ну-ка, Расскажи мне, о чем ты сейчас так серьезно думал?

И герой, наполовину побежденный нежной тягостью, лукаво склонившейся на его руку, и сладостным сиянием сине-серых глаз, принялся говорить, но не для нее. Эгоистически он произнес вслух монолог, развивавшийся в его душе:

— О том, что это лазурное небо создано для всяческого преуспевания, а этот теплый воздух для всяческого изобилия; и люди у этого моря могли бы жить свободными и счастливыми, беря у заботливо обработанной земли все необходимое для жизни и употребляя часы досуга на усовершенствование в знании, любви и красоте; и стали бы прекрасны, как статуи, с здоровым телом, обремененным совершенным духом, как светильник во дворце, или еще лучше, как шум моря в телесно-розовом перламутре жемчужной раковины...

Она смотрела на него, слушала, не понимая акцентированной речи, но не решалась смеяться под вдохновенным огнем его глаз, и мало-помалу, с религиозным инстинктом, живущим в душе каждой женщины, увлекла его из толпы, как бы для того, чтобы охранить от осквернения святыню, заключенную в тайне его слов.

Воспламененный ритмом собственного голоса, обвеванный исходившим от нее ароматом фиалок, теплотой ее тела, магнетизмом внимательных глаз и ярко-алых губ, раскрытых с странным выражением удивления и надежды, он дал увести себя, говоря, как во сне.

— И все это будет достигнуто в тот день, когда, силой крови и убеждения, мы раскроем глаза человечеству. За нас говорит красноречие наших принесенных в жертву жизней, нашей пролитой крови, которая расцветет обильной жатвой пшеницы и оливок, молоком мира, сладостью меда. Так важно ли, убиваем мы или умираем?! Слава смерти, несущей жизнь!

И так он продолжал ходить и говорить, бессознательно подстрекаемый заговорщицкой теплотой женского тела, позлащенного солнцем. Она же обладала драгоценным знанием или чу-

десным инстинктом молчать, слушая, и ласкать, молча. Когда же, доведенная до пламени желания музыкой восторженных слов и огнем черных глаз, она отважилась прильнуть губами к губам героя, и он очнулся от обжигающей реальности поцелуя, они стояли на берегу моря — над мирным простором его уже величественно склонялось солнце — очень далеко от шума главной аллеи... и было слишком поздно убивать короля, который, наверное, уже давно вернулся во дворец. А чем же утешиться в потере героического плода дня, как не покорившись, со сладчайшим угрызением сердца, необходимости отдать ночь любви?

Так, по милости куртизанки, спасся король. Из чего следует, что в интересах царствующих династий необходимо сохранять в своих владениях этих жалких безумиц, умеющих иногда во-время засмеяться.

ПРИКЛЮЧЕНИЕ.

Прелюдия ¹⁾.

Крути веретено свое, паук, — ведь солнце, ведь лето! Нити белого шелка, нити света, свивайте мотки свои на кустах! Журчи свою песню, источник холодный, журчи свою песнь, — ведь воздух пылает, ведь земля горит, ведь лето! Звени хрустальем своим, ты, ручеек, что бежишь, что журчишь, что спешишь по зеленому лугу под лазурным небом, — ведь лето! Рассыпь свои трели, соловей, — ведь лето! Забудь ночь, забудь луну, оставь сладкую, томную песнь, — будь жаворонком, будь жаворонком! А ты, жаворонок, заводи громче свою песню над золотыми хлебами, над маками, над красными кончиками созревающих тутовых ягод! Поет ли река? Пусть поет река, пусть поют над рекой камыши, пусть поют за камышами тополи, а за ними ясени, что взбежали на пригорок, а дальше за ними — сосны, черные сосны, голубые сосны, фиолетовые сосны, пусть поют своим голосом, глубоким, таинственным и ласковым, — пусть поют! И мансовые поля

¹⁾ Прелюдия — вступление к музыкальной пьесе.

с тихим непрерывным шопотом пусть колышут белые серебряные султаны, а серебристые тополи — серебро своих листьев, а осоки металлическим голосом рассказывают о своем восторге, и пусть кричат перепела на жнивье, пусть поют стрекозы в дорожной пыли, и кузнечики — в колосьях! Потому что лето, потому что свет благоденствия, и жара шедра, и золото солнца — словно вино радости! Лето — бушует кровь, и трепещет тело, и душе хочется пить и целовать румяные уста. О свежая вода, ласкающая белое тело, голые ножки в ручьях, янтарь и розы юных тел в реке, — и плеск нетерпеливых рук, и взлеты пены, сверкающей на солнце, и сумасшедший смех, и битвы в воде, и бисер бессвязных слов! О мягкий воздух на влажных лбах, мокрых волосах, на руках, чуть побледневших после купанья! А сладкая и волшебная дремота сиесты!¹⁾ Белая веранда, камышевые кресла, красная герань у решетки; тихо колышется парусиновая занавеска, и полузакрытые глаза следят за лучом света, в котором пляшет золотая пыль... А в золотой пыли — ткань наших грез? нет, нет! — веселая ткань истинных былей, чудесной жизни, радостной любви, алых губок и смеха, звенящего в жизни! Лето, — пчелы жужжат и трудятся, подсолнечники кивают головками, розы махнули крыльями голубыми цветами, лавры колышут на горячем ветре кораллы и свет своих веток. Пахнет грозой, пахнет землей и глиной. Падают ливни на виноградники, и с шумом прыгает вода по мохнатым листьям смоковниц! А потом снова выходит солнце, сад смеется, обмытый и свежий, и смеются дети, что попрятались

¹⁾ Сиеста — часы полуденного отдыха.

на верандах, и выбегают на дорожки подбирать упавшие плоды. Пришло лето, пора золота, света, пурпура, гвоздики и нарда и столбистых роз. Крути веретено свое, паук! Рассыпай свои трели, жаворонок! Ручей, ключ, река, вода бегучая, пойте все, пойте все свои песни!

Отрывки из писем.

Да, друг, приключение! Земля Астурии, моя родина, хранила для возвращения своего блудного сына, под тенью своих каштанов, на мураве своих лугов, в говорливой влаге одной из своих рек, среди тростников и папоротников, не более, не менее, как настоящую эклогу¹⁾. Эклогу свежее эклог Гарсиласо²⁾, с любовной битвой, с вишневыми устами, с черными кудрями, рассыпавшимися по белым плечам, с резвыми ножками. Просыпается Пан!³⁾. Кельтическая⁴⁾ тень позлащается на мгновение солнцем Греции. Возьми же свирель, поэт, и воспой стихами, пахнущими поцелуями, пчелиным медом и молоком

¹⁾ Эклога — литературное произведение, изображающее в привлекательном виде картины сельской жизни и природы.

²⁾ Гарсиласо — испанский писатель.

³⁾ Пан — древнегреческое божество, олицетворяющее веселье, полноту жизни, любовь и природу. Пан обитает в рощах и долинах и считается покровителем стад. Его часто изображают с козлиными ногами и бородой, играющим на свирели или ведущим хороводы других лесных божеств (нимф и менад). Некоторыми своими чертами он напоминает нашего лешего.

⁴⁾ Кельты — древнее племя, обитавшее на юге Франции и Испании.

белых мифологических¹⁾ коз, подвиг, о котором я сейчас расскажу тебе! Он стоит того...

Начнем историю с начала. Ты знаешь, что, без малого неделю тому назад, тревожное письмо отца вырвало меня из нашего любимого Мадрида. «Отчего ты не едешь? Я очень стар и болен. Мат твоя только и делает, что тоскует по тебе. Дом приуныл, потому что ты забыл его. Три года ты не приезжал, а я не хочу умереть, не увидев тебя». Я приехал. Отец вовсе не так дряхл, как ему нравится утверждать. Болезни — ни признака! Деревенский воздух точно выдубил его, и старость его похожа на сморщенное яблоко, сохранившее сочность под сжившейся кожицей. Я застал его в саду, под тенью каштана, среди еретических газет, составляющих вечное отчаяние моей матери, закоренелой церковницы. Приехал я под вечер. Мы пообедали под ветвями орешников, под аккомпанимент чудеснейшего заката, под музыку листьев и оглушительный писк птиц, копошившихся в ветвях. Когда сложили салфетки, настал час ежедневной молитвы, мать прочитала ее с прислугой, горничными, конюхами и работниками; в почтительном молчании я присоединился к молитве; отец развернул «Бунт» и углубился в самое внимательное чтение. Мать, поглядывая на него, тяжело вздыхала, доходя до каждой десятой четки. Настала ночь, без луны, но звезды блистали взапуски. Надо тебе сказать, что в доме у нас большая веранда, занавесью для которой служит раскидистая зелень гелиотропа. Мы сидели, не скажу, в его тени, потому что была ночь, и не в его прохладе, потому что ночь

¹⁾ Миф — древнегреческое сказание о богах и героях. Мифологический — сказочный.

была душная. Итак, мы сидели на веранде, — родители и сын. Сын, — справедливость требует признать, — в довольно меланхоличном настроении: распитый звездами мрак вызывал передо мною сверканье культурного электрического света; ванильный запах гелиотропа — ароматы газа, шелков и тонких женских духов; торжественная музыка ветвей заставляла меня вспоминать другие мотивы, пожалуй, менее стройные. Но, Боже мой! Ты знаешь, я обожаю лето в Мадриде, а в это лето наш Мадрид имел для меня особое очарование. Вследствие всего этого, идиллический²⁾ мир природы, вместо того, чтобы пролить в душу мою нектар²⁾ умиротворения, которые так расточительно приписывает ей вы, поэты, вызывал во мне какое-то досадливое возбуждение, какое-то нетерпение, стремление бежать, сесть на поезд, сменить эти пышные и росистые ветви на пыльные и чахлые ветки городского парка, где в этот час...

— Ты что-то очень задумчив! — сказала мать.

Голос прорезал безмолвие с такой необычайной звучностью, что все мои фантазии сразу обогрелись и исчезли.

— Ты не рад, что вернулся в родной уголок?

— Нет, нет, он прелестен.

— Но Мадрид... — прошептала мать.

— Но Мадрид... — подчеркнул лукаво отец. — Сколько тебе лет? — продолжал он.

— Тридцать, — вздохнул я с искренней печалью.

¹⁾ Идиллия — мирная сцена из пастушеского быта.

²⁾ Нектар — напиток, который пили, по верованиям древних греков, их боги.

— Тридцать, — повторила мать, — не может быть! Столько же, сколько было твоему отцу, когда мы женились.

— Верно! Мне было тридцать лет, когда я женился.

Сердце мое сделало предостерегающий скачок: разговор вступал на опасную почву.

Да так и продолжался. Основываясь на печальном аргументе тридцатилетия, отец и мать возымели намерение доказать мне, со всей своей местно-астурийской диалектикой¹⁾, что я пришел уже в возраст рассудка, что мне должны были надоесть безумства, что отец мой стар, что все мое состояние заключается в этом поместье, и если я хочу сохранить его, я должен о нем заботиться, что земля, неумолимая земля, зовет меня, и я должен взять в свои руки наше ужасное сельское хозяйство и жениться. Еслиб ты слышал, как захохотали все орешники в роще!

— Смотри-ка, какой вдруг поднялся свежий ветер! — сказала мать.

Жениться, да!.. Путем искуснейших оборотов и обходов, отец дал мне понять, что есть уже и кандидатка на мою руку: зовут ее Марсела, она совсем молоденькая, рано лишилась матери, а ее синьор папаша считает золото гарнцами и припас для нее великолепнейший сахарный завод, устроенный в старом дворце, в полумиле от нашего дома.

— Поистине, не девушка, а клад, — сказала мать.

— Чудесная девушка, — пробормотал отец и с греховным смакованием прибавил несколько заигрывательных деталей.

¹⁾ Диалектика — искусство спорить, доказывать.

— И чистая, чище воды!

— Прямая, как сосна...

Боже мой, почему, вместо того, чтобы возселить меня, всякая новая прелесть невесты, предносимая добрыми стариками, вызывала во мне дьявольскую злость?! Я прекрасно знаю эстетические вкусы моего родителя по части женщин и, судя по его восторженным похвалам, представил себе красавицу в виде местной девицы, плотную и румяную, с кроткими и глупыми коровьими глазами, с льняными волосами, угловатыми манерами и неподвижностью статуи, влюбчивую, простодушную и робкую. А мне в женщинах нравятся легкая, тонкая искусственность, хрупкая грация, завлекающее противодействие, кокетство и даже, пожалуй, некоторая испорченность. Та, которой суждено влюбить и покорить меня, будет тоненькая, смуглая, с умными глазами, с смеющимся ртом, одетая по последней моде, изысканно надутая, без тени ребячливости, но беспокойная, тревожная и, самое главное, тревожащая; я хотел бы часто страдать, пусть она даже немножко смеется над моим страданием. Словом, я думал о прекрасной Марселе, портрет которой упорно рисовало мое воображение, и до такой степени расстроил себе нервы, что я сказал сам себе: «Завтра же утром возвращаюсь в Мадрид!» и, обрвав на полуслове своих изумленных родителей, попросил свечу и пошел спать. Немного погодя пришла сильно встревоженная мать.

— Ты болен, сынок? Что с тобой?

— Ничего, ничего... Устал, хочу спать, нервы... Оставь меня!

— Ну, спи, спи!

И поправила простыню. У матери моей руки — как у девочки, удивительно нежные и всегда прохладные. Я помню, что мальчиком не мог заснуть, если они не закрывали мне глаза.

— Мама! Руки!

Она сделала милый, привычный жест, улыбаясь с тайною радостью.

— Мальчик мой!

Я уж спал, когда она ушла.

Когда я проснулся, утро было в полном разгаре, и солнце светило во всю; птицы щебетали в саду; в открытые окна струился воздух, пахнувший народом и скошенной травой. О, какое наслаждение — свежее дыхание утра над садом! Я так спешил вдохнуть этот воздух, так спешило расшириться мое сердце, что глаза мои наполнились слезами, а на уста бурно рвались все стихи, какие я знаю наизусть. В сердце таится целое гнездо стихов, которые вылетают в минуты беспричинного восторга, пьяного счастья, беспредметного и глубокого ликования, по утрам. Это странно: только по утрам душа вспоминает, что она — малый ребенок.

— Педро, Педро! — прозвенел голос в саду.

— Мама!

В саду — под орешником накрытый стол: дивно благоухающий шоколад, кружочки сливочного масла, словно выточенные из слоновой кости, румяные булки, парное молоко. Какое безумное наслаждение, какое счастье новорожденного зверька! Мать, облокотившись на стол, смотрела, как я ем, и улыбалась, а я — о, горе! — я позабыл про Марселу. Из кухни вышла девушка, свежая, светловолосая, белая, пухленькая, легко неся на голове ведро; у нее были известные уже тебе,

кроткие и глупые глаза, и ужасный призрак так властно встал предо мною, что сердце мое запыло; наверное, я очень побледнел.

— Что с тобой? — испуганно спросила мать.

И я, немножко смущенный, опустив глаза и считая нитки на скатерти, проговорил:

— Ничего, мамочка. Только я уезжаю... — я не посмел сказать: «сегодня», — я уезжаю завтра.

— Завтра? Ты уезжаешь?

— Да, мама. Видишь ли, — не сердись, — когда я получил письмо, то подумал, что папа болен, действительно болен, и выехал спешно, оставив дела. Понимаешь, дела?

— Дела в Мадриде? В августе?

— Да, мама. Уверю тебя, мне надо ехать.

— Хорошо, милый, хорошо. А пока, пойди, погуляй по деревне и по полю, чтобы набраться аппетита. Отец ушел на заре, пойди, поищи его!

В эту минуту появился отец, он шел с ружьем на плече и с пустым ягдташем. Он шумно с нами поздоровался, обнял мать.

— Ах лентяй, развращенный горожанин! В девять часов в постели! Позавтракал? Что собиравшегося сделать?

— Он пойдет сейчас гулять. Ты не пойдешь с ним?

— Нет, нет, я уж нагулялся и теперь должен просмотреть газеты.

Мать нахмурилась.

— Да, газеты, — голос прогресса, милейшая моя жена! «Бунт» действует замечательно. Надо тебе знать, что в Вильянуэве священник...

— Замолчи, замолчи! Ступай, милый, гулять! В час будем обедать. Может быть, дойдешь до Ясеней? Это влево, вниз по реке. Марселиту я видела нынче утром. Свежа, как роза. Конечно,

ее папаша, узнав, что ты приехал, очень тонко пригласил нас обедать в субботу. Я ему сказала, что мы уж стары и не любим обедать не дома, так что приедешь ты один. Ну, желаю тебе удачи!

Наш сад отделен от огорода зеленой изгородью. В огороде купы смоквиц и яблонь, капуста всех оттенков белизны, зелени и пурпура, пышные гряды картофеля, грядки, на которых краснеет начинающая созревать земляника, и, свешиваясь над дорожками, стоят розовые кусты с крупными желтыми розами. Над низким забором — шиповник. Калитка выходит на дорогу, а по ту сторону ее линия ольховника отмечает изгибы реки. Дорога — белая, чистая, тенистая и шумит голосом бегущей у ее края воды. На горизонте тянутся параллельно три линии вершин горделивых Астурийских гор: первая — зеленая, вторая — темно-фиолетовая, третья — лазурная и мглистая, тает в мглистой лазури неба. Взяв направо, я поднялся в гору и пошел потихоньку, с весьма умеренным желанием встретить красавицу. Наверное, в этот час, — думал я, — она занята хозяйственными делами, растрепанная, потная, красная, как земляника, — словом, одна из тех, какие, по слухам, больше, чем нужно, нравились синьору дону Иакиму Лопес де-Аблану, моему почтенному родителю.

В этом месте долина широка; тусклая зелень свекловичного поля тянется по берегу реки. Я подумал, что эти поля, которые будут моими, являются главной причиной моего предполагаемого брака с наследницей Ясеней; повидимому, сейчас папаша Марселя покупает свекловицу у моего отца. Как заливались в ивняке птицы! Дрозд выделял изумительнейшее соло на

флейте; легкий ветерок шевелил листву. Дорога суживается и идет вдоль крутого выступа горы! река испуганно прячется в ущелье. Я стою в узком проходе, заросшем папоротниками. Река шумит и пенится; склоны уходят все дальше и дальше вверх; из трещин скалы бьют тонкие струйки, их свежесть вызвала роскошнейшую растительность, поднимающуюся от реки до вершины горы; камыши поднимаются в самых неправдоподобных положениях; величественно, как в саду, стоят кипарисы; кустарники, папоротники, мхи устилают землю. Река делает заворот, и на ней вертятся колеса мельницы. Дальше она разливается широким плёсом; напор воды подмывает скалу, и она, измельченная в желтый песок, образует пляж¹⁾, как на море, но пляж закрытый, тенистый, прохладный, охраняемый от нескромных взоров крутой горой и завесой зелени.

Ты знаешь, какое невыразимое очарование имеет для меня вода! Часто, в саду, в каком-нибудь общественном месте, проходя мимо фонтана, я испытываю потребность броситься в полный бассейн, а если на спокойную поверхность воды падают тревожные брызги струй, тогда желание это делается настолько сильным, что причиняет мне настоящее физическое страдание. С представлением о воде, с ее прохладной лаской, с ее нежной подвижностью, связываются у меня самые тонкие, самые изощренные и волнующие ощущения наслаждения, но наслаждения чистого, юного, свежего, радостного. В воде я постоянно встречаю обьятия, которые меня поддерживают, голова, которые мне поют; я был бы любов-

¹⁾ Пляж — песчаный берег моря, удобный для купанья.

ником всех наяд и ундин, я плаваю, как рыба, и люблю волновать мирную влагу заводов, поднимая сильными взмахами шумные брызги, разбивающие в звонкую пену прозрачный хрусталь воды.

На гладкую пелену заводи падали каскады, поднимаемые лопастями мельничных колес. Мне захотелось выкупаться. Быстро, стремительно я бросил на землю пляшу, пиджак. Женский смех остановил меня. За деревьями послышалось движение, шум; кто-то говорил.

— Да синьорита... — Нет, синьорита.

— Какая, должно быть, сейчас чудесная вода! — сказал тот же голос, что раньше смеялся.

Белая фигура пробежала по берегу и на минуту вырисовалась во весь рост на камне. Потом удар по воде, быстрый плеск, масса пены, и среди нее — смуглое лицо, ясные глаза и волна влажных черных кудрей. Прерывистые радостные возгласы, потом — тишина. Наяда плыла, молча. В тени жаркий воздух был удушлив, как в печи. Сквозь ветви пробивались лучи солнца, вонзавшие золотые стрелы в тело, окутанное нескромной белой пеленой. Наяда закрыла глаза; черная волна волос тяжело стлалась по воде; руки, играя, лениво ловили воду, сжимаясь и разжимаясь; маленькие белые ножки двигались шлопливыми толчками. Я помню яркий румянец губ на побледневшем от зеленоватого света лице. Какой жар в крови, какая жажда поцелуев! Если я не кинулся в реку, то, поверь, только потому, что наяда вышла из воды с такой же внезапностью, как вошла. Бесподобнейший водоворот пены крутился вокруг ее тела. Она поднялась, побежала по воде, прыгая по круглым прибрежным камням, и, споткнувшись, чуть не упала на

песок. Но здесь — ужаснись, робкий и сладчайший поэт! — ее подхватили мои раскрытые объятия! И, если бы ты знал, как извивалось в них молодое белое тело, как трепетало под моей рукой полное ужаса сердце, каким гневом пронизывали меня черные глаза! Она была храбра, эта неведомая наяда, храбра и обольстительна. Она защищалась без единого крика, и, в то время, как губы мои искали ее и впились в вишневые уста, одна рука ее, вырвавшись из плена моей, вонзила мне в щеку стальные ногти. И тогда, — о, мужская стойкость! — я вскрикнул и разомкнул объятия. Она убежала, а я почувствовал, как по щеке моей стекает кровь. Моя Ата-ланта снова бросилась в воду, пробежала по камням и скрылась в мельнице. Из кустов вышла, крича, служанка и последовала за убежавшей красавицей, а у меня что-то оборвалось в груди, не то сердце, не то жизнь. Какая шея, друг, — янтарь и розы! Какая свежесть тела и какой небесный аромат! Я и не подозревал, как головокружительно пахнет женщина, вышедшая из реки, да еще такая женщина! Холодные губы, сочные, как спелый плод, зубы еще холоднее, — элочка, во что бы то ни стало, хотела укусить меня. А темные ресницы, дрожавшие над негодующим огнем глаз!

Кровь лилась у меня из трех огромных царапин, нанесенных ее свирепыми ногтями. Пришлось умыться в реке, пришлось поднять пиджак, пришлось сесть и прислушаться на солнце, потому что мокрая волна кудрей обвила меня, как злая змея... И я сидел у воды, когда она вышла из мельницы, уже одетая. В сопровождении служанки и мельника, с видом оскорбленной королевы, вся в белом, необыкновенно серь-



езная, под нарядным красным зонтиком. Она, без сомнения, видела меня, потому что прошла рядом, но не удостоила взглядом. Она высокая, стройная, в изящнейших, вышитых бисером туфельках, шелковых чулках, с множеством пышных и белых, как пена, кружевных воланов. Мельник шел, вооруженный грозной дубиной.

И вот нежная и сладостная причина нежности, объяснение радости, с какой я отказался от возвращения теперь в Мадрид. Я не видал больше своей смуглой красоти и каждое утро и каждый вечер хожу к реке; утром и вечером купаюсь в заводи, возле брызжущего водопада, под тенью тростников и кипарисов; но из скромности, — из робости, пожалуй, — не решаюсь наводить справки и до сих пор не знаю, кто она. Я стал ужаснейшим провинциалом, люблю Астурю больше всего на свете и заявляю, что нет в мире места, которое могло бы сравниться с этим райским уголком. Поверь, поэт, я влюблен бесповоротно. Завтра еду в Ясени, белокурая Марселита проиграла ставку...

* * *

Дорогая! Мое приключение имело вторую часть, не менее неожиданную и поразительную, чем самое приключение. Я не ходила больше на реку, как ты, конечно, можешь себе представить. Добровольно купаюсь в саду, да еще защищенная — кроме навеса над виноградником — палаткой из простынь. Солнце светит на них снаружи, внутри зеленая тень лоз, и таким образом, когда, сидя в воде, я поднимаю глаза, мне удается позабыть, что я заключена в прозаическую ванну, и я воображаю, будто живу в японском фанаре и, с полужакрытыми глазами, мечтаю о приключениях с чудеснейшими развязками. Да, о

приключениях; с тех пор, как со мной случилось настоящее и действительное приключение, мне больше, чем когда-либо, нравится воображать другие возможные. И самое курьезное, что к подробностям воображаемых, я примешиваю элементы, действительно случившегося. Какие элементы? По правилам мне должно бы быть стыдно говорить о них; но мне не стыдно, и я признаюсь, с нераскаивной дерзостью, по твоим словам, характерной для меня, что среди них главное место занимают голубые глаза дерзкого любезника, белокурые завитки, очень крутые над загорелым лбом, какая-то очень приятная теплота под щекотанием темных усов, стройный стан, как говорится в романах, тонкий запах очень чистого белья и вербеновой воды. Не смотри с таким возмущением. Известно ведь, о, добродетельнейшая из добродетельных, что ты тоже любишь помечтать; но ты мечтаешь о маркизах в стиле Людовика XIV, одетых в шелк и бархат. Неужели мои мечты менее добродетельны от того, что герой мой предстает предо мной в жилете и крахмальной сорочке? Уверю тебя, что она была бела, как снег, тончайшего полотна, изумительно выглажена и спита в Мадриде, не сомневаясь! Как, в краткое мгновение кратчайшего обятия, я могла заметить столько подробностей? Кое на что мне пригодилась моя опытность хозяйки, — на Рождестве мне исполнилось двадцать лет. Уже двадцать лет, Карлотта! Весна уходит стремительно, я вступаю в лето жизни. Прощайте, фиалки; прощайте, вздохи; прощайте, смутные розовые мечты! Мечты мои теперь лазурны и белокуры, цвета его глаз и кудрей. Ну, хорошо... На лазурной и золотой тропинке фантазия моя немного путается и при-

ходит к несколько смелым заключениям, пояснение к которым я оставляю до нашего ближайшего свидания, потому что есть вещи, которые можно сказать только между смехом, а бумага не смеется. Противная бумага! Подумай, быть веселой, веселой, веселой, хотеть смеяться — и видеть перед собой эту плоскую белую физиономию, не выражающую ни горя, ни радости! Письмо — вещь нелепая, антипатичная, глупая. Самые забавные и самые чувственные вещи в мире пишутся на бумаге и — хлоп! — сразу становятся безнадежно глупыми. Потому-то я не люблю романов, написанных другими, а люблю выдумывать их сама: в них, действительно, есть и розовый свет, и смеющиеся лица, и даже, изредка, слезы. Слезы? О, да, в моей купальне, в моей зеленой тени, слушая буколическую музыку — буколическая говорится вместо скучной — шмеля, запутавшегося в усиках лоз, я по настоящему плакала сегодня утром. От горя? От радости? От злости, милая моя, не более, не менее, от злости и раскаяния за чрезмерный смех! Да, душа души моей, Карлотта, вторая часть моей истории есть печальная глава о смехе. Выслушай ее, посмейся со мной и пожалей меня.

Начнем *ab initio*, как говорит мой брат Хозелито, который с тех пор, как из-за твоего презрения решил сделаться священником, даже супу просит по-латыни. *Ab initio*, в данном случае, означает фатальный час. Не можешь себе представить, с каким величественным видом я вышла из мельницы; даже не взглянула на него, хотя видела, как он сидел и сушился на солнце. Карлотта! Когда я проходила, он вздохнул, но, конечно, не последовал за мной. Дома на меня напала какая-то шальная веселость; в семь часов

мы пообедали; вечером я попробовала навести дипломатические справки; никто не знал моего белокурого незнакомца. Ясени — уединенное и равнодушное место; деревья, наши знаменитые ясени, как ни болтливы, но никогда не говорят того, что хочется узнать; каменный ручеек, птицы в ветвях, ветер, играющий флюгером, все болтают, кто во что горазд, но не со мной; отец — ни со мной и ни с кем. Как-то поведет свои дела бедный незнакомец? С Хозелито я тоже не могу столкнуться с тех пор, как он изучает Горация; кроме того, он говорит, что я ужасно легкомысленна, и презирает мою беседу. В итоге мне пришлось довольствоваться собственной персоной, и я села за рояль и стала играть вальсы и польки. Канарейка, слушая меня, заливалась, как сумасшедшая; я стала ей вторить, и мы целый вечер задавали концерт. Я слышала, как одно за другим захлопнулись три окна в кабинете моего папаша, потом два в комнате моего ученого брата, и я осталась одна со своей музыкой. Есть ли, по твоему, что-нибудь более приятное, чем возможность производить много шума? Не помню, в какой-то комедии говорят: «Моя душа звенит, как колокольчик». Мне тоже часто кажется, что душа моя похожа на колокольчик, который катится с горы, быстро, быстро, быстро, и звенит, звенит, заливается, и вдруг падает в воду, и вода проникает в него и гудит там, как в морских раковинах. У меня есть две больших морских раковины, снаружи золотистые, а внутри розовые. Они чудесно гудят. И гул идет точно изда-лека, будто гудит душа другого мира, так что иногда хочется смеяться, а иногда плакать.

Однако, я заболталась. Когда стемнело, я вышла на балкон. Опускаю описание пейзажа, так

как ты знаешь его наизусть. Было жарко. Все было тихо и безмолвно. Вдруг... — не пугайся: любезник не появился, — вдруг закукувала кукушка. Кто устоит перед лукавым искушением? Я спросила: «Сколько лет до моей свадьбы?» И знаешь, сколько раз прокукувала проклятая! — Пятьдесят восемь! Обидно! Я захлопнула балкон, пошла ужинать, но ни к чему на притронулась. Папа сказал: «В субботу у нас будут завтракать гости». Я заперлась в своей комнате и грустно занялась ночным туалетом, но за полировкой ногтей постепенно пришла в хорошее настроение. Какая алая кровь была у злодея, — алая и горячая! Уверю тебя, я здорово его поцарапала. Еще бы! При защите целомудрия всякая жестокость прощительна! Лукреция была бы моим идеалом, еслиб прибегла к кинжалу пораньше. Заснула; во сне ничего не видела. Проснувшись вместе с солнцем, ибо имею похвальное обыкновение спать с открытыми окнами. И... но зачем продолжать! Два дня без всяких развлечений, кроме прогулок по полям во все стороны, но — увы! — без последствий. Коварный Дон-Жуан не показывался нигде. Думаю, что он провел все время у реки, выжидая моего появления. Удивительная логика у мужчин!

Настало утро субботы, унылое, предвещающее беды. Ясени совсем закутались в туман, солнце гримасничало. Я, при содействии кухарки, составила меню парадного завтрака.

— А кто будет, синьорита?

— Не знаю. Какой-нибудь папин знакомый коммерсант. Сделайте побольше мяса.

— Марсела! — крикнул в это время отец.

Я побежала в кабинет. У Хозелито — торжественное лицо, у папы — как всегда.

— Что тебе, папочка?

— Сядь!

Села. Театральная пауза. Хозелито смотрел в потолок, папа в пол, потом оба принялись смотреть на меня с более чем неприятной настойчивостью, и отец спросил ни с того, ни с сего:

— У тебя есть жених, Марсела?

Я посмотрела на него с изумлением.

— Жених?

— Ну да, жених! Отвечай правду!

Я вздохнула.

— Ах, нет, папочка!

Так горестен был, должно быть, мой тон, что отец, мой бесстрастный отец, чуть было не расхохотался. Опять пауза, не менее продолжительная и не менее торжественная.

— А хотела ли бы ты выйти замуж?

— Сейчас?

— Сейчас или немного погодя?

— Смотря по тому, за кого, папа.

Отец посмотрел на Хозелито, Хозелито, мексикански улыбнулся, я задрожала.

«Боже милостивый! — подумала я, — неужто он вздумал искать мне мужа при помощи моего классического братца? О, ужас, ужас! Кто этот несчастный? То-есть, несчастной-то, собственно, буду я. Какого супруга можно откопать среди латинских книг сына и свекловицы отца? Наверное, он стар; наверное, объясняется в любви гекзаметрами¹⁾ и безобразен. Нет, невозможно!»

Я встала и решительным голосом, с трагическим жестом, произнесла:

¹⁾ Гекзаметр — размер, форма стихов, которыми написаны многие произведения греческих и латинских авторов.

— Нет, папа, я не хочу выходить замуж.
И намеревалась покинуть поле битвы. Отец ласково удержал меня.

— Послушай, Марсела, будь же благоразумна.

— Я сказала: нет!

— Подумай...

— Я не желаю выходить за старика.

— А если он не стар?

— Не стар? — Я остановилась. — Сколько ему лет?

— Не знаю. Двадцать восемь, тридцать.

— Он добрый?

— Добрый.

— Изящный?

— Послушай, Хозелито, — он изящен?

— Кажется, да, — буркнул тот.

— Высокий? Блондин?

— Ах, милая моя... Не могу сказать тебе в точности.

— Разве ты его не знаешь? — воскликнула я с негодованием.

— Что ты, Бог с тобой! Конечно, знаю, только давно не видал.

— Довольно, — сказала я не особенно благодушно. — Как его зовут?

Отец блаженно улыбнулся.

— Его зовут Педро Лопес де-Аблан.

— Перико Аблан! Сын доньи Терезиты?

— Он самый.

— Да ведь он в Мадриде!

— Он вернулся.

Ах, Карлотта! А еще говорят, что сердце — вещь. Мое вело себя в этом случае совсем предательски.

— Да ведь, говорят, он кутила!

— Ты сделаешь из него святого.

— Но, папа...

— Что, Марсела?

— А если он мне не понравится?

— Это мы скоро узнаем.

— Каким образом?

— Перико Аблан будет у нас завтракать.

— Он?!

Послышался конский топот, остановившийся у нашего крыльца.

— Вот он!

Действительно, в передней раздался голос, шаги по коридору, дверь открылась, и... Это был он, Карлотта, он, мой герой! Я опустила глаза. Претендент приблизился, отец взял меня за руку.

— Марсела, дочь моя, имею удовольствие представить тебе...

Я подняла голову. Никогда не видела я более удивленного лица! Он смотрел на меня, смотрел, а я, вспомнив сцену на реке и увидев на его щеке победоносные следы моих ногей, красные, глубокие, еще совсем свежие, Карлотта, душенька, я не могла сдержаться! На меня напал неудержимый смех, и я начала хохотать, как безумная, с криками, задыхаясь, почти извиваясь. И хохотала, хохотала, без конца! Отец смотрел на меня, ошеломленный; любезник не знал, куда деваться? Хозелито подбежал поддержать меня, потому что я падала от смеха. Повалившись в кресло, я почувствовала, что умираю; глаза мои наполнились слезами, но я все продолжала смеяться. Наконец, папа, потеряв терпение, схватил меня за руку и вытолкнул в коридор. Я хотела заговорить, объяснить... Невозможно! Это был какой-то дьявольский смех. Шатаюсь, я под-

нялась по лестнице, вошла в свою комнату, легла на диван. . . Через минуту услышала стук захлопнувшейся двери, потом топот копыт. Я подбежала к балкону, выглянула, — мой Дон-Жуан утекал во всю прыть. Ах, Карлотта, если бы ты знала, как он хорош! Как блестели у него глаза, как задрожали губы, когда он услышал мой смех! От страха? От злости?

Когда припадок кончился, я взглянула на себя в зеркало. Вид у меня был такой, точно я не спала несколько ночей: веки воспаленные, лицо измятое, с огромными синяками под глазами. Скорее в воду! Мой японский фонарь ждал меня. И там, душа моя, я проливала слезы, о которых говорила в начале этого письма. Отец назвал меня сумасшедшей. Хозелито не устаивает меня взглядом. Мы обедали в гробовом молчании. Понапрасну старалась моя бедная кухарка. Гость бежал, и я романтически вопрошаю: не бежало ли с ним мое счастье? Нет, нет, Карлотта, этого не может быть, потому что, несмотря ни на что, мне все-таки безумно хочется смеяться. «Сердце, — говорила нам мать Каталина, — есть полый мускул». Чем же я заполню свое, если Перико Аблан, напуганный моим приемом, скрылся, как ласточка из стихов, чтобы больше не вернуться? Вернется? не вернется? Я превратилась в белокурую Гретхен¹⁾ и ошипываю пророческие маргаритки. Неужели кукушка сказала правду, Карлотта? Ждать целых пятьдесят восемь лет! Ты скажешь: жизнь — загадка. А я слышала, что сфинкс смеялся и над жизнью, и над загадками. Ну, чтож, будем смеяться и мы!

¹⁾ Гретхен — героиня трагедии Гете «Фауст». — образец наивной, влюбленной девушки.

Интермедия.

Святой Рох благословенный!

Волянка стонет, колокольчики заливаются; девушки поют и кружатся в хороводе; парни пляшут болеро, свертая белоснежными рубашками, яркими шелковыми платками, и сбивают кегли, принимая позы, напоминающие древние классические мраморы.

Святой Рох благословенный! Женщины, скорчившись, сидят у корзин, полных товарами. «По собачке! по собачке!»¹⁾. Вот паточные собаки, сахарные быки, овечки из леденца, розовые пряники с веночками из глазури! «По собачке! по собачке!» Вот меренги, миндальные прянички, бисквиты!

Святой Рох благословенный!

А вот свежие орехи, спелые груши, яблоки, белые и румяные, как щечки милой, по три собачки пара! Вот сливы, полные медвяного сока и одетые в густой пурпур!

Святой Рох благословенный!

Волянка стонет, боченок с вином выставляет круглый животик; над ним прибит флаг, как над гордой крепостью; а напротив — вражеская крепость — высокомерно выпятила брюхо пивная бочка. И стеклянный бокал гуляет взад и вперед, полный сладкой пены, полный горькой пены. И языки чешутся, глаза блестят, щеки пышут полымем. А вот жареный миндаль, круглые орешки, возбуждающие жажду! Играй, волящик, — ведь сегодня праздник Святого Роха, сегодня ярмарка! Играй, волящик! Звуки твоей волянки —

¹⁾ Медные монеты в 5 и 10 сантимов, с изображением льва. Простонародье называет эти монеты «маленькой» и «большой собачкой».

точно небо моей родины и вздохи соянца, окутанного легкой утренней дымкой, точно мягкая мурава моих лугов, точно пение, доносящееся издалека ввечеру. Пой, волюнка, плачь, мечтай о любви!

«Когда снег блеснет на тропинке,
Прощай, моя любовь!
Когда снег блеснет,
Что мне делать?»

Святой Рох благословенный! Смотри, как волнует воздух и раззадоривают пляску белые платки над алыми улыбками. Девушки моей родины похожи на голубей: белый платочек — крылья, а к ним нежное сердце и воркующий ротик. Танцуй, малютка, открывай румяные губки и смейся кармином и белой эмалью своему танцору, играй пальчиками, взмахивай руками, наклоняй лукавое личико, переступай ножками в такт наивному, свежему, бесхитростному ритму. Не обращай внимания на волюнку, что плачет вдали. Слушай лишь пение собственного голоса, который весел, звонок и нежен, как твое сердце.

Святой Рох благословенный!

В церкви пахнет чудесно; благостный святой улыбается на пьедестале. Помолись ему, малютка, на твоём милом языке; помолись ему и ты, любезник! Слышишь, как молятся ему колокола — эти бронзовые сердца? Колокола молятся звуком; листья рассыпанной на полу мяты молятся тоже, потому что благоухают. Помолись же и ты, потому что крепко любишь, веселое сердце, и ты, говорливый ротик!

Святой Рох благословенный! Посмотри, как темнеет. Где же солнце? Заснуло солнце; кончилась ярмарка. Пойдем домой по тропинке.

Вдоль тропинки луна сияет над маисовым полем. Воздух томится, ветки вздыхают, вдали, точно флейта, стонет лягушка. Близко, близко на твоих алых губках дрожит нежное слово ...

Святой Рох благословенный!

Отрывки из писем.

Ты не можешь себе представить, как очаровательны ярмарки на моей родине! Чтобы понять их своеобразную поэзию, нужно напиться свежестью этих полей и мягким сиянием неба, нужно уметь слушать биение сердца астурийского народа, такого скрытного и вместе наивного, такого глубокомысленного и вместе ребячливого. Я, ты, почти все, кто, как мы с тобой, имеет некоторую претензию на духовную утонченность, все мы ненавидим народные праздники в Кастилии. И это не удивительно. Сказать: «народный праздник» значит сказать: пыль, запах горелого сала, разгул, вино, развязные женщины, грязные слова, неопрятная любовь и шумное ночное веселье. Ярмарки на моей родине не праздник, это росток самой почвы, внезапно распустившийся цветок поэзии, звучащий волюнкой, ароматный, благоухающий на ярком солнце и в тени густой листвы. Девушки, мои землячки, все носят белые шелковые платки на голове и танцуют свои незатейливые танцы на свежей и бесшумной траве, перед часовой, и сердца их переполнены бессознательной, примитивной радостью. Обаяние природы можно сравнить с обаянием женщины, против которого бесполезно бороться. Тыходишь к ней, разочарованный, презрительный, враждебный, а она улыбается и ничего не говорит. Ты презираешь ее, оскорбляешь, она

продолжает улыбаться и заставляет тебя подчиниться величественному покою своего молчания. Ты стараешься не любить ее, не видеть в ней ничего хорошего, — она прекрасна, она безмолвствует и побеждает. Я принадлежу ей, зеленой, бархатистой, благоуханной моей родине. Принадлежу ее тишине, ее радости, радости матери и невесты, и мирный покой ее напоминает мне колыбель, потому что деревья мягким колыханием своим вызывают иллюзию тихого покачивания колыбели или баюкающих рук. И глаза смыкаются, лицо словно хочет прильнуть к нежной материнской груди, и земля кажется колыбелью, матерью, а милая — материнской грудью. На глазах — свежее прикосновение рук, на губах — сладкий вкус молока, а в ушах — что это? шелест ветра в листве? пение воды в реке? любовные речи? — все — песнь матери, баюкающей дитя.

Ты говоришь, что интересуешься моей любовной сказкой, или сказкой о моей любви. Если так, прости мне, ради нее, эту болтовню, в которой виновата она. А так как ты столько же психолог, сколько поэт, — разреши мои сомнения. Наслаждение ли природой предрасполагает к любви к женщине, или же любовь к женщине заставляет находить наслаждение в созерцании природы? Я, в данное время, отчаянный поклонник природы, без памяти в нее влюбленный.

Мое письмо постыдно бесвязно, — прости! Я начал рассказывать о ярмарках, — все в мире имеет логическое объяснение. Святой Рох — патрон нашей деревушки. На ярмарке Святого Роха, благословенного Святого Роха, я опять увидел ее! Опять!..

Ты уже знаешь, что я выбежал из ее дома взбешенный. «Вот несвоевременный и глупый смех! — думал я, в то время как конь мой скакал по тропинкам, перелетая через ограды и высекая копытами искры из камней. — Видали вы такую змею? Есть над чем смеяться!» Я припори́вал бедного скакуна так, что он уж и не знал, куда деваться. Наконец, прискакали мы на луг, мирнее которого нельзя себе ничего представить. Молодая, только что пробившаяся зеленая травка, на краю ручеек, вдоль ручейка — ряд топей, и над лугом, ручейком и тополями — чудеснейшее безмолвие и полуденное сияние, — целая поэма мирного покоя! Лошадь моя, уставшая от бесполовой скачки, остановилась; я, ни с того, ни с сего, соскочил на землю, рассеянно повторяя вслух: «Скажите, пожалуйста, есть над чем смеяться!» И вдруг, точно звук собственного голоса разбудил меня от дурного сна, я сообразил, что случай вполне, как нельзя более, достоин смеха, такого именно бесподобного, безумного, судорожного, неудержимого смеха, каким и запечатлел его Марсела. Конечно, так! Я думал, что Марсела блондинка, а она брюнетка. Я представлял ее толстой и угловатой, а она стройна и кокетлива. Я упорно рисовал ее покорной и робкой, а она — храбрая амазонка и карает кровью за похищенный поцелуй. Марсела, изящная и прекрасно приспособленная для жестокой и утонченной жизненной борьбы, хорошо сделала, что рассмеялась при виде речного фавна, превратившегося в вульгарного претендента на ее руку. Наверное, при виде растерянного выражения, какое у меня, вероятно, было, когда вонзились в меня стрелы насмешливых глаз, она подумала о своих золотых сундуках. Ах, как из-

умительно хороша она была, когда смеялась! То закрывала лицо руками, и смех прыгал между пальцев, как речная вода по камням. Из веселых глаз катились слезы, а рот, стараясь закрыться, делал гримаски, которые только и ждали других губ, чтобы стать поцелуями. «Нет, глупцом, непростительным глупцом был я! — продолжал я свой монолог. — Я должен был подбегать и поддерживать ее, когда ее тело ослабело от взрывов этого властного веселья, я должен был закрыть ее уста своими, я должен был упиться этим смехом и навеки напоить его радостной влагой свое сердце! А я, глупец, смущенный и уязвленный самолюбием, уступил сладкую обязанность ее неуклюжему брату Хозелито! Я допустил, чтобы рассерженный отец вывел красавицу из комнаты, как невоспитанную девченку! Я мог оскорбиться этой божественной веселостью и трусливо, — нет, подло! — покинул поле битвы! А теперь — как вернуться? Этот вопрос я задавал себе три дня под ряд. Софизмы, рассуждения, квинт-эссенцию незуитизма, — все пустила в ход моя злосчастная голова, и, несмотря на все усилия, я не находил способа помочь беде. Как очутиться снова под огнем ее лукавых глаз? Святой Рох разрешил за меня задачу. Благословен Святой Рох, — придется разориться на воск для свечей.

Итак, я вернулся домой уже в сумерки, сослался на нестерпимую мигрень, чтобы сейчас же броситься в постель. Ночь посвятил горькой задаче убеждения себя в том, что я дурак, плохой кавалер, безумец, недостойный никакого настоящего приключения. Мать на утро страшно перепугалась, увидя скомканную постель, и затопила меня липовым цветом и померанцевой водой. Ах, Марселита, как бы ты посмеялась надо мной! Я

встал в дьявольском настроении. На следующий день продолжалось то же миленькое состояние. На третий, то есть вчера, я заметил необычайное движение в доме, увидел мать в шелковом платье, в мантилье из блонд, с филигранными четками у запястья и праздничным молитвенником с перламутровыми застежками в руках.

— Сегодня день Святого Роха, милый. Ты не пойдешь к обедне?

Я не пошел к обедне, позавтракал в утрюмом молчании, несмотря на все деликатесы, поданные на стол в честь святого и мою. За столом кто-то упомянул о ярмарке, под вечер я услышал волюнку. Горе мне! Как неужеримо заплесало мое сердце! Я разрядился в пух и прах и в два прыжка очутился у часовни.

Часовня Святого Роха стоит под каштаном, а в двух шагах от нее — покрытая муравой лужайка: центр ярмарки, бальный зал, кегельбан и карусель под открытым небом. Там празднование совершалось шумно, и в то время, как Святой отдыхает в тени каштанов в маленькой церквушке, напоминающей языческий храм, на лужайке поют, танцуют, пьют, любятся и играют.

Когда, залыхавшийся и дрожащий, я прибежал, как на свидание, к часовне, праздник был в полном разгаре... Я жадно смотрел во все стороны. Замечал ли ты, какое странное впечатление производит многочисленное собрание людей, когда между ними еще нет той, кого мы хотим встретить? Это точно картина, на которой нарисован только фон, точно гобелен, с затуманенной фигурой принца или дамы, которая должна занимать первый план, — точно шифрованное письмо без ключа, точно звук слов незнакомого языка. Группы как-то не клеятся, движения не согласо-

ваны, звуки бессмысленны, лица не имеют выражения, даже самый воздух как будто неподвижен. Удивительно! Какую власть имеет ум, как он всегда царит, как всегда заставляет все сотворенное служить трон, пьедесталом, фоном, аксессуаром для той или того, кого он изберет своим властелином.

Итак, я жадно смотрел и не видел ее. Вошел в церковь; там было темно и прохладно, пахло мятой, ситовником и бесчисленными душистыми травами, ковром покрывавшим пол. На пьедестале, окруженный цветами и свечами, улыбался Святой Рох. Нельзя представить себе более простоватого святого. При виде его блаженно-снисходительной улыбки, хочется попросить у него самых несообразных вещей. Всякая мистическая¹⁾ идея, всякая религиозная экзальтация²⁾ улетучивается перед этой фигурой, которая, с шляпой на затылке, жеманным жестом подбирает складки длинного облачения, показывая старательно вырисованную рану. При виде его собачки, держащей в зубах хлеб, мне стало смешно, и я подумал, что Марсела, наверное, расхохоталась бы тоже. Несколько очень дряхлых и очень черных старух ползли на коленях к алтарю, в экстазе пожирая глазами святого. Я устыдился при виде их твердой веры и вышел из храма. Она еще не приходила. Я говорю «еще», потому что был уверен, что она придет. Я превратил желание в уверенность, душе моей отрадно было ожидать ее. Я сел на скамейку возле церкви и камнем стал разбивать орехи. И, очищая их, говорил себе: «Придет, не бойся, придет, по этой

¹⁾ Мистический — таинственный.

²⁾ Экзальтация — возбуждение, порыв.

тропинке, между вязами. Придет с видом королевы, серьезная, чинная, с головы до ног одетая в белое... конечно, в белое!» И я ждал в таком упоении, так нетерпеливо хотел, чтобы она пришла, что увидел ее — и не узнал. Правда, она была в красном платье, дерзком, радостном, сверкающем, как ее смех, и поразительно изящном. Где научилась одеваться эта заколдованная провинциалка? Она шла с отцом, с Хозелито, с каким-то старым прилизанным выходцем из Индии, одним из тех, что носят камзол и клеенчатый галстук, и еще с таким же выходцем из Индии, но уже из современных, молодым, некрасивым и очень антипатичным. Все оживленно болтали. Она смеялась, жизнерадостная, счастливая. «Ну да, — подумал я, — она меня не любит и никогда не полюбит! Она счастлива. Зачем ей кого-нибудь любить? Ведь известно, что если женщина знает, что она хороша, да еще нацепит на себя красивую тряпку, ей ничего больше не нужно. Человек может лишить себя из-за нее жизни, — ей все равно, так она полна смеха и жизнерадостности». Каким дерзким, каким невыносимо-дерзким кажется счастье женщины, когда являешься для него посторонним! Чего она смеется? Пойдем, посмотрим, чего она смеется. И зачем надела это красное платье?

Красное платье горело на солнце, и ликующий цвет его, как и она, смеялся надо мной. Когда я ступил на лужайку, она меня увидела. Это заметно было по насмешливой искорке, вспыхнувшей в ее глазах. Она увидела меня, но не пожала взглянуть. Я бросил орехи, бросил камень, которым разбивал их, встал и начал неистово ходить взад и вперед. Она, в сопровождении свей свиты, переходила с места на место. Муж-

чины покупали ей орехи и сласти, она складывала их в платок, связанный концами, как у крестьянок. Я слышал звук ее голоса, но не понимал слов. Она вошла в часовню, сосредоточенно перекрестилась, набожно опустила на колени. Чего просила она у деревянного святого? Потом вышла, покусывая листок мяты, поднятый с пола. Остановилась поговорить со старухами, поцеловала мальчугана.

Когда она ушла, я подозвал мальчишку, купил ему пряников и тоже поцеловал.

Должно быть, в это минуту она взглянула на меня, потому что я вдруг стал краснее ее платья. Чего только не проделывает мужчина под двойным злостозненным влиянием черных женских глаз и буколического веселья! Когда я, наконец, перевел дух и поднял голову, жестокая пила сидр из рюмки, которую некрасивый юноша поддерживал с самой смехотворной церемонностью. Меня так и потянуло бросить камень и разбить в его руках рюмку, и — благословенное навеки совпадение! — Марсела сделала неосторожное движение, рюмка выскользнула из рук кавалера и разбилась вдребезги. Я обезумел от радости. Ах, вечно ребяческое, вечно необузданное сердце! Марсела, разумеется, расхохоталась. День клонился к вечеру, солнце спустилось за вязы, образовав бледно-золотой фон для их ветвей. Вверху, на колокольне, на горах, трепетала фиолетовая дымка. Звуки утончались, приобретали вибрации отдаленности и тайны. Ах, как плакала вольница, как звенело девичье пение! Порхание белых платков казалось чем-то многозначительным и символическим. Вдруг Марсела нарушила мир и близну танцующего хоровода резкой краснотой своего одеяния. Гордо встала, подняла руки, вы-

прямил стройный стан, наклонила голову, посмотрела на меня, как никогда... и пустилась танцевать — с ним, с уродом! — талец, символический, святой, влюбленный, прелестнейший талец моей родины. Нет, нет, нет! Она танцевала, как ангел с глазами дьявола. И я допускал это! Одним прыжком я вскочил в центр хоровода, но она, сделав полуоборот, увернулась от меня и продолжала танцевать. Я толкнул какого-то парня, который принял это за шутку и уступил мне свое место.

— Ага, синьорито! — сказала одна из девушек, — пришли потанцевать с крестьянками! Ну, чтож, потанцуйте, потанцуйте...

Делать нечего, и я стал танцевать. На половине круга взглянул на свою даму — она была высока, как жердь, плотная, рыжая, красная, как пион, и страшная, как смертный грех.

* * *

...Мужчины, душенька Карлотта, странный зверь, существо непонятное и в то же время прозрачное, — окно, распахнутое в глухую полночь на чудесный пейзаж, нечто вроде морской свинки, которую Провидение любезно преподнесло нам, женщинам, чтобы мы испытывали на нем разные степени ядовитости страстей, капризов, прихотей, благородных решений, крайних низостей. Считаешь ли ты мужчину способным на какое-нибудь чувство, доброе или злое, если женщина не вздумает заставить его испытать это чувство?

Всю эту бессвязную и противоречивую философию внушило мне, помимо усердного чтения классиков, жалкое и растерянное лицо, с каким

Перико Аблан ждал меня вчера на ярмарке Святого Роха. Да, он ждал меня. Как ёкнуло мое сердце, когда я увидела его на скамейке перед часовней! Представь себе, что по странному соглашению, в какое сердце вступает с судьбой, я бесповоротно решила утром: «Если он придет на ярмарку — значит, любит. Если не придет — значит, уехал в Мадрид». Ставка на судьбу! И так страшило меня решение, что, когда настал час идти на ярмарку, я хотела остаться дома. Но сейчас же, устыдившись своей трусости, отменила опрометчивое решение и храбро вышла на улицу. Я была с отцом, с Хозелито, с доном Лунсом и его сыном Теодором, фатоватым юношей, который изучает философию в Овьедо и считается сатириком и поклонником твоей покорной слуги. Это многочисленное общество привело меня в хорошее настроение. Ведь правда, что одно из самых приятных ощущений для женщины — это быть одной среди группы мужчин? Какой прекрасный эффект производит всегда одна женщина среди нескольких мужчин! Нужно быть очень безобразной или очень глупой, чтобы не использовать чудеснейших преимуществ положения: мужчины, которые поодиночке могут быть несносно скучными, в группе всегда очаровательны, и чем их больше, тем лучше. Каждый вносит свою долю любезности, и они чудесно дополняют друг друга.

Итак, мой Дон-Жуан, то есть дон Педро, ожидал меня на ярмарке. Я очень обрадовалась, взглянула на него, думая, что он полойдет поздороваться, но он не пошел. Что это? Еще свежая досада? смущение? равнодушие? Говорю тебе, мужчины — неразрешимая загадка. «Кто он?» — думала я. Если бы он подошел к нам,

изящно поклонился, осведомился бы полупуштя, полусерьезно, оправилась ли я от своего нервного припадка, — официально мой смех признал нервным припадком, — конфликт был бы разрешен, и острота положения сглажена, он был бы на высоте, я — немножко унижена. Но нет, синьор не подошел! И лучше всего то, что чудак пожирал меня глазами, а отец мой пожирал его, потому что ты не можешь себе представить, до какой степени запечатлелась в сердце моего папашки свекловича Лопес де-Абланов. Повидимому, этот брак был бы прекрасным дельцем. Папа не в состоянии сердиться на меня ни за что на свете. Но сколько мысленных вздохов вызывало в нем, с того рокового часа, воспоминание о том, что он именует моей нелюбезностью!... Что делать? День уходил, а с ним и благоприятный случай. Я проделывала, как ты можешь догадаться, всякие экстравагантности, болтала, смеялась, пила сидр — ничего! Пошла в церковь, помолилась Святому Року — ничего! Он не подошел подать мне святой воды. Тогда мне пришла великодушная идея — потанцевать с моим философом. Вот тут чуть было кое-что не случилось. Перико Аблан одним прыжком врвался в хоровод. Какой сладкий трепет пронизал меня! Я представила себе трагическое объятие, романтический обморок... Ничего подобного! Несчастный пустился танцевать с самой некрасивой девушкой — и как плохо танцевал! Я была в ярости. Мне хотелось опять оцарапать его, выбранить, заплакать, укусить его. Глупый, глупый, глупый! Зазвонили колокола. Должно быть, Святой Рох и его собака пришли мне на помощь, Карлотта, потому что в эту минуту меня осенила мысль, чудесная по простоте и действительности. Я взяла

под руку отца и стала ходить с ним, болтая о том, о сем, потом равнодушным тоном спросила:

— Это не Перико Аблан стоит в дверях часовни?

— Он, — вздрогнув, ответил отец.

— Почему же ты ему не поклонись?

Какую довольную мину состроил мой старик!

— Ты думаешь? — спросил он в приятном изумлении.

— Ну, конечно, он смотрит на нас и не решается подойти... из-за того раза.

— Какая ты сумасшедшая, Марсела!

— Да, папочка, знаю, Посмотри, как он глядит на нас. Поклонись же скорее!

— Ты обещаешь не повторять своих фокусов?

— Обещаю.

Мы подошли к церкви. Какие взоры вонзал в меня несчастный! Отец снял шляпу, я поклонилась легким кивком и полуулыбкой. Полуулыбкой, потому что не успела ее дополнить: так быстро, так стремительно любезник очутился перед нами, с шляпой в руках, красный, как мак, бормоча в прелестном смущении бессвязные приветствия. Отец похлопал его по плечу, я протянула руку. Как он сжал ее, Карлота! У меня врезались все кольца.

— Вы уже давно на ярмарке? — спросила я — Мы вас до сих пор не видали.

Отец — бедняга! — взглянул на меня, пораженный.

— Я пришел раньше вас.

— Вот как! — ответила я, притворяясь обиженной.

— Значит, вы не хотели нам поклониться?

— Я думал... я полагал...

Несчастный чуть было не испортил все. Слава Богу, подошел Хозелито, подошли дон Луис с моим философом. Представления, общий разговор. Тем временем он пришел в себя и отважился взглянуть на меня. Я встретила взгляд с самой любезной улыбкой. Он повторил взгляд, я — улыбку. Наступило довольно опасное молчание.

— Какие сумасшедшие колокола! — сказала я, чтобы сказать что-нибудь.

— Вроде тебя, — отозвался Хозелито.

— Слава Богу! — воскликнула я.

— Вы благодарите Бога за то, что сумасшедшая? — серьезно спросил мой философ.

— Да.

— Марсела права, — сказал Перико.

Марсела! Каким странным голосом произнес он мое имя! Для меня оно прозвучало совсем новым, как будто до сих пор никто и никогда не называл меня так.

— Она права, — продолжал он, — в этом сладкое назначение женщины: сеять в мире веселость своего безумия, звенеть смехом, чтобы наполнять радостью сердца.

— Правда! Кто не умеет смеяться, у того черная душа. Да здравствует смех!

— Да здравствует! И пойдемте домой, потому что уже пора.

— Так рано!

— Уже смеркается.

Действительно, уже стемнело. Мой обожатель скорчил грустную физиономию, но потом сообразил, что может и даже должен проводить нас. Отец с готовностью с ним согласился; философ мой, кажется, надулся, потому что взял под руку Хозелито и стал рассуждать о Святом Фоме.

Отец затеял сахарную полемику с доном Луисом. Так что сама судьба оставила нас вдвоем на аламеде, и мы шли, залитые луной, в теплом сумраке, полном шумов и тишины, белого света и жутких теней, как в сказках, как в жизни! Мы несколько ускорили шаги. Мы ничего не говорили. Меня забавляло смотреть на длинные наши тени, которые бежали впереди нас. Дошли до поворота дороги. Тени постепенно укорачивались, потом отступили назад и пошли за нами. Я обернулась взглянуть на них и вскрикнула: никого не было! Отец, Хозелито, дон Луис, философ, — все исчезли.

— Что такое?

— Мы не туда свернули. Мы одни!

— Вам страшно?

— Страшно?

Кто это сказал: «страшно»!

Между деревьями слышался негромкий шум.

— Это река.

Какое слово — река! Услышав его, я почувствовала, что в тело вернулась веселость, а в душу ясность, как будто шум этот, как в мифах, был моим отцом и покровителем.

— Река, — повторила я медленно и даже, кажется, немножко восторженно, не нарочно, — клянись тебе! — потому что веселое воспоминание о происшедшем, о светлой воде, о полуденном солнце, о синих сверкающих глазах наполнило сердце мое ликованием. — Река!

Видишь, какое красноречие! Два слова и легкое-легкое восхищение. Однако, они действовали как целая речь, потому что лицо слышавшего их бедняги выразило, — если не обманул меня лунный свет, — крайнее волнение, голубые глаза почти стали черными. Я смотрела на него.

Так как волнение заразительно, то взволновалась и я. К горлу у меня подступил клубок, как в романах. Мне захотелось заплакать, но голос реки напомнил мне, что я обязана соблюдать женскую гордость, и я засмеялась. Услышав мой смех, который ночью, действительно, прозвучал так, что удивил меня самое, Аблан схватил меня за руки и умоляюще заговорил:

— Простите, простите... простите...

Я продолжала смотреть на него, с таким удивлением, что не догадалась отнять у него руку. А когда заметила некорректность, то было уже поздно. А кроме того, бедный малый был как раз на середине страстного признания, и мне казалось жестоким оборвать нить его красноречия невежливым и бесполезным движением. Он говорил что-то о rose для души и о хрустальном смехе над, не знаю, каким, лугом и какими цветами. Словом, всю обязательную любовную ложь, как никогда, благоуханную, потому что была ночь и лето, потому что вдали слышалось пение возвращавшихся с ярмарки людей. Потом, — так как красивые слова обыкновенно служат преддверием красивых поступков, — представь себе в заключение первоначальную сцену, начало милого приключения, но в несколько измененном виде, так как на этот раз между наядой и фавном царил полное согласие. В конце концов, после краткого мгновения, мне пришлось напустить на себя чрезвычайную серьезность, потому что шум воды, повидимому, необыкновенно возбуждает дона Педро, — кто бы мог подумать! Но, кажется, даже и моей серьезности было бы недостаточно, если бы кстати не прозвучал несколько встревоженный голос отца.

— Марсела! Марсела! Марсела!

На этом и кончается моя история милая Карлотта. Сейчас тоже ночь, тот же легкий ветерок поведет ветки ясеней. И в деревьях поет кукушка. Ну чтож, пусть поет!

Серенада.

Пусть поет кукушка! Летняя ночь страстна и бела. Пусть поет кукушка, потому что голос ее вещей и проникает в сердца. Дьявольские часы отбивают время в ее горле, она кричит далеко, а слышится близко, в сердце! Существует ли кукушка? Этот металлический голос — пение птицы или же флейта, на которой играет по ночам воскресший Пан? Флейта, свирель, голос, — что говоришь ты в куще черных кипарисов, под глубоким небом, где звезды мигают, как бы подсмеиваясь над сентиментальным очарованием тейней? Что ты говоришь, кукушка? Никто этого не знает. Но расцветшие сердца угадают; и, останавливаясь послушать тебя, они произносят страшный вопрос. Солги им, кукушка! Солги им, флейта! Любовная свирель, повтори им сладкую ложь! Пойдем со мной, помоги мне, сказать им: «Все, о чем вы мечтали, — сбылось! Весь сад вашей души в белом цвету». И не говори им, что цветы его — цветы грез, краски — обман, отблеск света на водяных пузырях. Пусть поет кукушка! Кто ответит на вещей голос! Что это звучит в ночи? Вода в реке? Прозрачность струй? Жемчужность фонтана? Это смеется невеста! Ночь тепла, страстна и светла. Если небо ясно, если ветерок ласкает, если в листве звенят Эоловы арфы, если луна играет в прятки, а звезды лукаво подмигивают светилами, если поет кукушка и пришла любовь, — почему же не сме-

яться влюбленной? Прочь, романтические слезы! Романтичен смех. Когда смеются уста, сердце бьется быстрее, отбивает часы радости, и алые от крови губы раскрываются, предлагая жизненную влагу, а в груди порхают голуби, спугнутые с гнезда, и порхают ресницы над блестящим глазом, похожих на звезды и на светила. Смеется невеста. Ночь молчит, и трели ее смеха рассыпаются четкими спиралями и поднимаются все выше, выше и выше. Вот они уже на луне, вот уже на светилах, вот уже замутили мир и безмолвие Млечного Пути. И вот уже посыпались звезды, оттого, что засмеялась невеста. Где упадают скатившиеся звезды? Мудрецы этого не знают, но девушки на моей родине мудрее мудрецов и говорят: «Когда видишь падающую звезду, шепни желание, и если судьба захочет, желание сбудется». Стоит август, любовь моя, и падают звезды. Пойдем посмотреть на них и шептать желания, чтобы сбылась наша судьба. Пой, душа, свою чистую, свежую, мирную, веселую серенаду о сладком часе, о лунной ночи. Река бежит, колыхаются ветки, шепчет что-то ветерок. Безмолвие бодрствует, время спит. Бабочка пробуждает ароматы на тростниках, касаясь их бархатными крылышками. Бесшумно пролетает сова. В чаще ясеней слышится волшебная трель. Идет любовь. Пусть же смеется невеста! Пусть поет кукушка!

БАШНЯ ИЗ СЛОНОВОЙ КОСТИ¹⁾

I.

Лето прощалось с землею с грустью нежного любовника, и дни второй половины сентября были, как слова разлуки, то тихие и чарующе-мягкие, то бурные и удушливо-знойные.

Воскресенье выдалось жаркое, и под вечер огненно-красный закат окутал город тусклой пеленой. Люди бродили по улицам, задыхаясь от жары и пыли, тщетно ища прохлады в кондитерских и кофейнях. Пропыленные аллеи Монклоа, дорога Пардо, сады Бомбильи кишели гуляющими; вечером усталые вереницы их возвращались домой. Разряженные мещанки и чиновницы с напудренными лицами, изборожденными струйками пота; их мужья, с размокшими воротниками и манишками, злобные на всех и вся из-за перспективы провести вечер в душной квартире на узкой улице; хнычущие от усталости и от сотни других неведомых причин детишки; пыль, слепящая глаза; новые ботинки, жмущие ноги; засохший на пальцах апельсиновый сок; оторванные и болтающиеся резинки на шляпах...

¹⁾ Выражение обозначающее неприступность, замкнутость.

Гора Сан-Висенте сразу приняла скорбный вид от восхождения этой толпы, одновременно и шумной и безмолвной, как будто вышедшей исполнить какой-то горестный обет. Некоторые, или совсем молодые, или подвыпившие, пытаются петь, но нестройная песня не разгоняет неизбежной грусти всякого возвращения с загородной прогулки.

Счастливы те, кто может дожидаться ночи под деревьями. Летние ночи и апрельские утра — самое лучшее в жизни: и те и другие проникнуты дивной благоухающей интимностью, даже больше, чем интимностью — братством; душа чувствует себя более близкой телу, а тело — более слитым с землею; в утренние часы эта пантеистическая интимность есть как бы некое парение души над вселенной, а в вечерние она — взаимное проникновение вселенной, тела и души. Я хочу сказать, что в ясные утра человек отрешается от себя и парит над внешним миром, вибрирует в ярком свете и как бы растворяется в бодрящем воздухе; а в романтические ночи он углубляется в себя под крыльями мрака, упивается теплом и тишиной и дрожит, как арфа, под трепетной лаской звезд. Мы живем утрами, а ночи живут в нас.

В эту ночь несколько счастливцев решили часа на два-три забыть жизнь в более или менее идиллической обстановке мадридского сада. Они подумали было о «Паризиане», но, хотя кошельки их и были набиты довольно туго, дамы их не принадлежали к «дамам в шляпках», и потому этот ультра-шикарный проект был отвергнут. Притом же, «на том берегу» хорошо кормят, а если даже вместо скрипки и будет играть оркестрион, беда не велика, — всякая музыка кажется

веселой в двадцать лет. Кроме того, в Бомбиле можно протанцевать польку, вместо закуски, и шотландку на десерт, а это тоже не лишено приятности. Итак, в Бомбиле?

Нужно ли говорить, что кавалеры — студенты, а дамы швейки?

Их три, три дщери Евы. Три дщери Мадрида, — самые веселые из всех, когда-либо смеявшихся на его скверно вымощенных улицах. Мариана, Инеса, Кончита; ни блондинки, ни брюнетки, ни высокие, ни низенькие, ни чрезмерно полные, ни изможденные. Ни воронова крыла, ни зрелых колосьев, ни фиалковых глаз, ни лилейных век. Просто — молоденькие девушки, не вызывающие никаких метафор, с каштановыми волосами и без особой начитанности, радующиеся собственной жизни, потому что сегодня воскресенье, и день вышел приятный, жадные, естественной и здоровой жадностью, до любви и апельсин, до танцев и разговоров, со смехом, звонким и пробуждающим романтическое эхо, но без всякого таинственного значения, что бы ни говорили об этом высокопарные и глубокомысленные поэты.

Кавалеры, как я сказал уже — студенты. Девушки смеются: по забавной случайности кавалеры носят имена трех архангелов. Рафаэль — кордованец, блондин, с розовым, девическим лицом и серыми, грустными и томными глазами. Кончита дразнит его и совершенно серьезно уверяет, что у нее усы гораздо больше, чем у него — гораздо больше! И действительно, нежный пухок у юноши едва выделяется золотистой тенью над чувственным румянцем губ.

Мигель — левантинец, худощавый, смуглый, с совсем черными волосами, заполонившими чуть

ли не весь лоб, с маленькими, живыми глазками и проворными, гибкими, как у ящерицы, движениями.

«Жучок мой!» — говорит ему Инеса, распалившаяся, хотя и пила пока только воду.

Габриэль — горец и благородного происхождения; приятели зовут его «Маркизиком». Он высок и сутуловат. Глаза серые и большие, щеки впалые, бледные, волосы русые, редкие и очень блестящие. Выемчатые движения, мечтательный взгляд, который, по временам, оживляется и сверкает, когда юноша заражается общей веселостью. Мариана, его пара, смотрит на него с плохо скрываемым любопытством: угрюмый и словно усталый в цвете молодости, он кажется ей чем-то невероятным и непостижимым. А она так любит жизнь, так страстно хочет жить, и так уверена в своей силе! — Должно быть так всегда бывает с богачами и маркизами, — думает она, покусывая губы, — пожалуй, они и родятся так усталыми. И чего только не бывает на свете! Положим, им не приходится трудиться, чтобы заработать на жизнь...

— Какая ты стала серьезная, Мариана, — говорит Инеса.

— Она устала, — говорит Рафаэль.

— Или, может быть, проголодалась, как я, — вставляет Кончита.

— Нет, нет, просто, я думаю.

— О чем?

— О своих делах.

— Только о своих? — с упреком говорит Рафаэль. — Это очень эгоистично!

— О своих и о всяких.

— Интересно, может ли хоть одна ваша мысль залететь сюда, — вздыхает Маркизик с самым томным выражением.

— А я как раз и думала о вас.

Общий смех и возгласы «браво».

— Не смейтесь, в этом нет ничего особенного.

— Ну, да, конечно, ничего особенного!

— И никакого греха тут нет.

— А вот это жаль!

— Скажите, пожалуйста, как мило!

— А вы не пожелали бы согрешить со мной?

— Нет, синьор!

— Почему же?

— Потому.

— Как потому?

— Так, потому, что я думала.

— А можно узнать, что именно?

— Конечно.

— Ну, ну!

— Что вам, должно быть, ничего в мире не нравится.

— Мне нравитесь вы, и самым непозволительным образом.

Новый взрыв смеха и рукоплесканий. Мариана смущается и не желает продолжать прерванного объяснения. По счастью, они подходят к саду и, хотя народу очень много, занимают отдельный столик в беседке. В призрачной тайне, сотканной ночью и тенью, сердца быстро настраиваются на романтический лад. Составляется меню: девушки заказывают только поэтические блюда: креветок, майонез из дичи, торт с кремом... как жаль, что в сентябре нет земляники! Но зато есть шампанское, шампанское! которое беднякам кажется уже не поэзией, а чистой легендой; они широко раскрывают глаза, и даже губы слег-

ка вздрагивают, как от любовного волнения, когда Габриэль важно требует шипучее заморское вино в самом начале ужина. Какой восторг, когда с треском вылетает пробка! С какой поспешностью поглощается сладкая пена!

— Послушайте, да ведь это похоже на сидр! — наивно восклицает Инеса.

И все устраивают ей целую овацию.

— Да, да, можете смеяться... Как будто сам-то вы очень к нему привыкли? — Готова что угодно прозакладывать, что вы не пробовали его до сегодняшнего дня, как и я!

Раздаются протесты. Кончита пила шампанское, по крайней мере, четыре раза в жизни; в последний раз, меньше года назад, в день свадьбы «хозяйки»; тогда завтракали в кафе Фориос, в отдельном кабинете наверху, и была индейка с трюфелями, глазированная ветчина, галантин и мороженое. И какая же свадьба! У рассказчицы при воспоминании об этом великолепии сверкают глаза.

Инеса, разумеется, не хочет отставать. Уж если говорить о свадьбах, так она может рассказать о свадьбе своей двоюродной сестры, дочери колбасника с площади Кармен. Свадьбу справляли в Виверос; больше восьмидесяти персон за столом; весь цвет мадридской коммерции: был херес, и пироги, и музыка, и танцы; с одиннадцати часов утра и далеко за полночь, а на другой день было воскресенье, и опять началось все сначала, а конец отпраздновали на Фузите де-ла-Теха.

— А вы, Мариана, не можете рассказать ни о какой свадьбе?

— Ну, как же! О своей.

— О твоей?

— О вашей?

— Ну, да.

— Ты вышла замуж? Ха-ха-ха!

— Я не вышла замуж, но выйду, и уж если пошло на сказки, так не все ли равно, было ли это шесть месяцев тому назад, или будет через три года? Да, я расскажу вам о своей свадьбе. Фантазии у меня сколько угодно! Придется раскошелиться посаженному папаше! Я буду венчаться ночью, и мы снимем всю Монклоа, поставим венецианские фонарики на всех деревьях, поставим по органу на всех перекрестках, а у Большого Фонтана — духовой оркестр; ужинать будем в сосновой роще, и в полночь взойдет луна, как в «Венгерцах», и все мы будем немножко навеселе и будем танцевать до упаду. А когда устанем танцевать, займется заря, как в «Богеме», и мы пойдем домой, пока еще не взошло солнце, и не поднялась пыль, и будем дорожкой петь красивую арию из «Моряка»: «куда бежишь ты от мечты?» — Ну, что же: как вам нравится моя свадьба?

Все зааплодировали; Габриэль пристально смотрел на эту горожанку, которая, чтобы вызвать в своем воображении представление о рассвете и лунном сиянии, совершенно естественно и просто прибегала к театральным эффектам. — Должно быть она никогда не видала, как рождается день над настоящим полем? — подумал он с тревожным удивлением натуралиста, открывшего новый, дотоле не подозреваемый вид. Настоящее поле! Возможно ли, чтобы луг или маисовое поле, посеребренные луной, пылающая в огне заката дубовая роща, или сад с звенящими на заре ручейками рисовались человеческому мозгу в такой же туманной дали, как любовные страдания какого-

нибудь оперного героя? И чтобы природа отождествлялась с отвратительной мазней занавесов и кулис?

И он, барчук, выросший в замке, среди полей, в тесной близости с землею, на минуту испугался этой городской девушки; потом в нем поднялась громадная волна нежности, и он сразу понял глубокое значение клетки с кузнечиком, висевшей на балконах в узких улицах бедных кварталов Мадрида, понял, что меланхолическое стрекотание маленького узника представляет целую поэму, а зелень салатного листка, которым мадридская работница затеняет крошечную клетку — чуть ли не волшебный покров, заменяющий ей никогда не виданные поля...

— О чем вы так серьезно задумались?

— О том, что я хотел бы увезти вас на мою родину, чтобы вы увидели настоящую красоту.

— А вот кстати идет поезд. Сделайте одолжение!

И, действительно, по мосту над садом со свистом и шумом проходит поезд.

— Ах, счастливые богатые люди, они могут путешествовать!

— Вы никогда не выезжали из Мадрида, Мариана?

— Никогда.

— А я, — говорит Кончита, — один год ездила в Аликанте, на товарном поезде. Милые вы мои, что за чудесная штука море!

— Море! — у Марианы от зависти загораются глаза.

— Верно, — подтверждает Габриэль, — вы должны поехать на мою родину, чтобы увидеть го-

ры и деревья и луга, и настоящее море, Кантабрийское море, огромное, не аликантское, которое ничего не стоит...

Валенсианец вспыхивает, как ракета.

— Средиземное море ничего не стоит! Латинское море! Лазурное море! — и произносит страстный панегирик не только своему морю, но и своей родине. — А окрестности Валенсии, разве этого мало! Девочки, до тех пор, пока вы не побываете в Валенсии, вы не будете знать, что такое зелень, лазурь, гвоздика и небесный аромат...

— Стой! — кричит андалузец. — Небесный аромат, и гвоздика, и розы, и жасмин, да еще мансанилья имеются только в моем краю, который поэтому называется краем Марии Пречистой.

Шампанское разжигает патристический пыл молодых людей.

— Да здравствует Севилья!

— Да здравствует Валенсия!

— Да здравствует Мадрид! — в один голос кричат три девушки.

— Да здравствует Мадрид! — галантно подхватывают кавалеры.

— Потому что в Мадриде, — лепечет уже немного захмелевшая Кончита, — нет моря... ни апельсина... ни... этих как их... майсовых полей... но зато...

— Но зато есть такие хорошенькие девушки, как ты, — заканчивает Рафаэль нетвердую речь своей подруги. Она смотрит на него нежными затауманенными глазами.

Ужин кончен, раздаются звуки оркестриона.

— Танцевать! Танцевать!

Кончита и Рафаэль, Мигель и Инеса — «обрученные» вот уже несколько воскресений — пускаются в пляс без всяких церемоний, и в беседе остаются только Мариана и Габриэль.

Они только сегодня познакомились. Шум, ужин, дружеская беседа остальных поддержали в них иллюзию некоторой близости; но, оставшись одни, они чувствуют, что совершенно чужды друг другу, и не знают, о чем говорить. Он смотрит на нее, она улыбается, потом становится серьезной, сама не зная, почему; он, начав улыбаться при ее улыбке, тоже становится серьезным при ее внезапной серьезности. Она стоит спиной к столу, опираясь обеими руками на доску стола; он думает, что, пожалуй, следовало бы из любезности завладеть одной из этих маленьких, чуть-чуть красных на белой скатерти ручек, но не решается; потом приходит к заключению, что его застенчивость — глупый провинциализм, и внезапно, как человек, бросающийся в воду, обнимает ее за талию; она отодвигается, не на шутку оскорбленная, и он, красный, как томат, пытается оправдать свою дерзость удивленным вопросом:

— Вы не хотите танцевать?

Она смеется, лукаво окидывает его взглядом и, видя, как он смущен, великодушно и весело отвечает:

— Хорошо, будем танцевать.

Они берутся за руки и направляются к группе танцующих, но, сделав четыре шага, он чувствует угрызения совести и робко признается:

— Предупреждаю вас, я не умею танцевать.

Она громко смеется. Настолько громко, что он спрашивает, окончательно смущенный:

— Чему вы смеетесь, Мариана?

— Ничему. Не делайте же такое похоронное лицо. Этому танцу легко выучиться, я вас сейчас научу. Ну! Раз... два... Да подождите же, надо в такт. Ну, вот! Ха-ха-ха, Боже милостивый, неужто же вы никогда не танцовали?

— Никогда, — горестно отвечает он.

— Ну, ничего... попробуем еще... потихоньку... Раз...

— Послушайте, Мариана, скажите откровенно, может быть, лучше оставить танцы до другого раза?

— Мне все равно.

— Дело в том, что мне не хочется, чтобы у вас оставалось дурное воспоминание о нашей первой встрече. Простите меня.

— Не уметь танцевать — не преступление.

— Но это смешно.

Тон бедного юноши так печален, что девушка пристально взглядывает на него; и чувствует при этом взгляде, как в душе ее просыпается странная материнская нежность, словно жалость и любовь одновременно. «Маркизи» кажется ей заброшенным ребенком, новорожденным зверьком, чем-то маленьким, хрупким, нуждающимся в ласке и защите.

Так оно и есть: Габриэль, проживший двадцать два года в провинциальном замке, без отца, под охраной властной и фанатичной матери, почти не знает, что значит жить, и совершенно не ведает, что такое воля. Мариана видит зеленоватую бледность его лица, лихорадочный блеск глаз, нерешительность и угловатость движений, как у человека, привыкшего бояться чего-то, не то наказания, не то призрака...

— Господи, что за несчастное существо! — думает она чуть не со слезами.

А он, словно зачарованный, не спускает с нее глаз, потому что ощущает, не отдавая себе ясно-го отчета, проявление силы, которая кажется ему сверхъестественной и чувствуется во всем: — в ясном взгляде, в здоровом лице, тонкой фигуре и решительных жестах молоденькой швеи; и ему хочется прижать ее к себе и сказать: «Полюби меня, полюби меня и пойдем вместе, куда захочешь».

— Что это, как мы стали молчаливы?

— Да, правда. Не хотите ли погулять, пока они танцуют?

— Как хотите.

Они выходят на дорогу; небо ясно, звездно и безлунно.

— А ночь свежая.

— Это от воздуха с реки.

— О чем вы думаете?

— О том, что странно, что вы сегодня в первый раз попробовали танцевать.

— Странно — нет...

— Да, — потому что если вы бываете с женщинами...

— Дело в том, что вы первая женщина, с которой я говорю — он хотел закончить: «в своей жизни», но мысленно поправился и закончил: — с тех пор, как приехал в Мадрид.

— Правда?

— Правда.

— Вот так-так! А я-то думала, что вы покори-тель сердец!

— Почему же?

— Потому что вы маркиз, и бываете с теми... Вы очень с ними дружны?

— Не могу сказать. Просто, мы живем в одной квартире, но они меня любят, и я их тоже. Так как я здесь один, без родных, они сказали, — Пойдем, повеселимся немножко, — я и пошел.

— Значит, так же, как и я.

— А вы тоже одна?

— Хуже.

— Хуже?

— Да, потому что у меня есть семья, с которой я не в ладах. Отец... ну, он мой отец, и что же я могу сказать про него? Достаточно того, что он так любит вино... Мачиха — чистая змея, и четверо детей от нее, четыре волченка, особенно старший. Если я вам скажу, что восемь месяцев тому назад мне пришлось бежать из дому и поселиться с Инесой, то этим все будет сказано. Ну, да положим, могло быть и еще хуже. В конце концов, я сама зарабатываю себе на жизнь, а это все, чего можно желать в мире... когда не родишься маркизой.

Мариана заканчивает фразу звонким смехом. Габриэль слушал ее чуть ли не с благоговением. Зарабатывать себе на жизнь! Может ли он зарабатывать себе на жизнь? Конечно, нет. Мир для него — огромный лес, где каждая тень скрывает пропасть, и каждая тропинка — западню. Чтобы победить страх, нужно закрыть глаза и идти, куда влечет высшая воля. Все божеские и человеческие законы кажутся ему ненадежными против опасностей и искушений, — ему, мужчине! А тут бедная девушка безмятежно смеется в лицо жизни, не думая ни о законах, ни о безднах.

— Вы портниха?

— Теперь, да; но я была всем: парикмахершей, гладильщицей, телефонисткой, закройщицей, горничной в кофейной... даже хористской, и все

приходилось бросать из-за одного и того же; прямо несчастье повсюду наталкиваться на мужчин, которые заправляют делом и тянутся за тем, чего им не хотят дать. А я так рассуждаю, что если полюблю кого-нибудь, то полюблю по своей доброй воле, но до сих пор, хотя мне уж двадцать лет, мне еще никто не правился. Видите, какая я требовательная!

— Правда, никто?

— Я же вам говорю. Потому-то я и рада, что живу самостоятельно и могу не связываться против желания ни с каким мужчиной, ради того только, чтобы он содержал меня. Что это вы так вздыхаете?

— Я вам завидую.

— Вы мне? Вот это интересно!

— Можете мне поверить.

— Чтобы мужчина завидовал женщине! Да еще маркиз и богач, да такой бедной девушке, как я! Вы смеетесь надо мной!

— Я чувствую зависть, Мариана, восхищение, уважение, все, что хотите, потому что вы обладаете всеми достоинствами, которых мне не достает?

— Ах, если бы я была мужчиной!

— Что же бы вы сделали?

— Лучше об этом не думать, потому что все-го не пересказать. Во-первых, я пустилась бы странствовать по свету и доехала бы, пожалуй даже до Китая, почему я знаю! Подумайте, земля такая большая, а видишь только один этот маленький клочок! Но куда пойдешь в этих юбках? Вы не поверите, иной раз у меня является искушение остричь волосы, одеться по-мужски и уйти отсюда, хоть с бродячими музыкантами. Мужчина может сделаться министром, хотя бы он вышел

из Воспитательного Дома, а женщина может быть, либо учительницей и проводить жизнь, вдалбливая грамоту ребятишкам, либо актрисой, и умереть с голода, когда состарится, либо падшей и преждевременно погибнуть в больнице. Вы не можете себе представить, чего только со мной не случилось, поневоле задумаешься. Я сумасшедшая, правда?

— Вы необыкновенная девушка!

— Ха-ха-ха, необыкновенная?

— Не смейтесь.

— Что же мне делать, если не смеяться, пока хочется? Еще будет время плакать... как и всем.

— Кто знает! Почему же?

— Потому что я знаю. Всякая женщина — верные слезы. Таков мир, и ничего тут не поделаешь! Ни вы, ни я ничего не можем изменить, хотя, если бы я была вы, я, может быть, кое-что и исправила. Но так как я — я, то все мои фантазии все равно, что лысому гребенку. Пойдемте-ка, поищем остальных, а то уж поздно, а эта Инесса, как примется танцовать, так и позабудет, что завтра понедельник, и что в восемь часов надо быть в мастерской.

— Пойдемте, куда хотите.

— Да где же мы? Мы прошли, по крайней мере, с версту. Какая прелестная ночь, и как чудесно пахнет поле!

Да, пахнет чудесно: тимьяном, началом осени, агонией листьев, готовых упасть с деревьев. Воздух точно дрожит от свежего ветерка, слышен отдаленный бой перепела. Габриэль чувствует в груди такое сильное беспокойство, что не может разобрать, радость он испытывает или горе;

ему кажется, что он весь переполнен этим чувством, и оно рвется наружу. И ему вспоминается строчка из каких-то стихов:

«Сердце мое, как переполненный сосуд...

— Мариана! — говорит он жалобным голосом.

— Что? — отвечает она слегка вздрогнув. Как будто в ее имени, произнесенном этим тоном, заключается вся тайна ночи.

— Нет... ничего... я хотел сказать вам много, но вы будете смеяться надо мной.

— Я? Почему? Нет... Ах, Боже мой!

— Почему, вы говорите: Ах Боже мой!

— Не знаю... не знаю... Пойдемте скорее.

— Габриэль! Мариана!

Далекие голоса разбивают хрустальную тишину ночи и чары рождающейся любви. Мариана вздыхает, точно очнувшись:

— Нас ищут.

— Мариана! Габриэль!

— Идем, идем!

— Куда, к чорту, вы запропастились?

— Мы здесь.

— Очень хорошо: вы сбежали!

— Мы гуляли... Габриэль не умеет танцовать. Все смеются.

— Ну, домой, домой, скорее! Уже поздно.

И в эту ночь ничего больше не случилось.

II.

Чистенькая комнатка, заменяющая столовую, зал и кабинет; плетеная циновка с ковровым рисунком; квадратный стол под джутовой скатертью; стулья из выжженного дерева, под кожу; буфет для посуды с неизбежными колонками и матовыми стеклами, с большим запасом посуды—

хрустальной и никкелевой — скажем, стеклянной и оловянной, чтобы быть правдивыми; диван и два кресла, обитые веселеньким кретоном; каминный прибор из позолоченной меди. Все новенькое, смеющееся, блестящее и горделиво счастливое. Балкон — чуть-чуть высоко — над аллеей Гаванны, солнце, самое ясное, январское, потоками вливается через балкон; клетка с канарейкой; на столе большой букет роз, еще завернутых в бумагу, в которой их принесли из магазина. Габриэль, вытянувшись в кресле, курит и мысли его блуждают. Будильник в спальне бьет двенадцать. Габриэль улыбается. Проходит несколько минут; торопливое постукивание каблучков на лестнице; звон ключа в замке; дверь открывается; мягкий шелест платья в прихожей. Габриэль встает и откладывает сигару; маленькая ручка приподнимает портьеру; хорошенькое личико улыбается и сияет. Бесконечное обаяние.

— Какое у тебя холодное лицо!

— Да, денек на редкость! Ночью был мороз. Но какое солнце! Что ты на меня так смотришь?

— Чтобы насмотреться!

— Ну, поцелуй меня еще раз.

— Ах, Мариана, Мариана, как я люблю тебя!

— Правда, правда, правда?

— Больше, чем жизнь, больше, чем душу.

— Однако, надо обедать, уж поздно, а в мастерской у нас страшная спешка... Я думаю, ты мог бы хоть накрыть на стол. Ах, розы! Что за прелесть! Но какой ты сумасшедший! Покупать розы в такое время! Они стоят безумных денег, а держатся так недолго. Я ужасно люблю розы... а эти, от тебя, в особенности! Спасибо! Ты ангел. Постели скатерть, пока я разденусь и принесу суп.

Она выходит. Габриэль дрожит от волнения и прижимает руки к груди, потому что почти задыхается; ему хочется кричать, плакать, сказать что-то глубокое, огромное, важное. Радостная любовь этой девушки, словно поток живой воды, крови, света проникает в самое его сердце и затопляет его счастьем. Ах, как больно и сладко любовное волнение, и как мало тела и души, чтобы любить, когда любится. Я люблю ее, люблю, люблю, хочу любить еще больше и уже не могу! Ах, как болит сердце, и как хорошо оно знает, отчего болит.

— Что ты тут делаешь? И не постелил скатерть, ах, ты лентяй! Отчего ты так поблудил? Сядь скорей, говори же, что с тобой.

— Ничего... дорогая... ничего... когда-нибудь я умру от счастья, что люблю тебя...

Она слегка хмурит брови, а он падает в кресло.

— Поди, поцелуй меня...

— Не хочу...

Она быстро накрывает на стол, не говоря ни слова; он смотрит на нее и постепенно успокаивается.

— Не сердись на меня.

— Я не сержусь... но мне обидно за тебя, только за тебя. (Она очаровательна с полными слез глазами). Ты был на лекции? Нет! Наверное, сидел все утро дома и курил турецкие папиросы... Сейчас посмотрим. Ну, разве я не права: двенадцать окурков в пепельнице; я еще на лестнице почувствовала запах. И пил крепкий чай. Посмотрим и это: в сахарнице не хватает восьми кусков, значит, четыре чашки! Ты отравляешь себя, знаешь? Отравляешься — от этого у тебя болит сердце и делаются припадки, а вовсе не от

любви ко мне, потому что я тебя люблю больше, чем ты меня, и все-таки у меня ничего не болит.

— Прости меня, Мариана... ну, посмотри на меня, засмейся! И давай обедать, а то уж поздно...

— Нечего сказать, хорошо ты пообедаешь с таким лицом!

— Я буду есть все, что ты захочешь!

— Честное слово?

— Честное слово... только поцелуй меня.

— Да, да, на притворные ласки у тебя есть время!

— Как к тебе не идет, когда ты хмуришься.

— Тем лучше! Ты будешь меня меньше любить, и у тебя перестанет болеть сердце... Супу?

— Ради тебя, согласен и на суп... только не так много.

— Кто здесь распоряжается?

— Ты, ты, всегда и везде ты!

— Ну, значит, ешь и молчи!

Не долго держатся слезы и гнев в глазах женщины, когда она убеждена, что ее любят, и какого безумства не простит она мужчине, который без ума от нее? А «Маркизик», действительно, совсем обезумел от любви. Он до такой степени живет только ею, что у него не хватает жизни на остальное... даже на самую жизнь; так, по крайней мере, объясняет он ей нежно и страстно, пока она быстро и с аппетитом ест.

— Я понимаю, что ты права, совершенно права, и можешь сердиться на меня. Но не сердись, потому что это будет очень нехорошо.

— Так что же мне делать?

— Ты хочешь, чтобы я каждый день ходил на лекции, зубрил всякую дрянь. Ну, скажи, зачем?

— Как, зачем? Для того, чтобы быть ученым, знаменитым, чтобы весь мир говорил о тебе, восхищался тобою...

— Лишь бы ты меня любила, и мне довольно...

— А вот, если бы ты любил меня, ты бы делал все, о чем я прошу, и даже больше, чтобы доставить мне удовольствие... Потому что любовь доказывается тем, что человек исполняет желания того, кого он любит.

— Любовь доказывается любовью и больше ничем.

— Любить, любить... это очень удобно.

— Но если я ничего больше не умею? Ты со мной, и что же ты хочешь, чтобы я делал, пока ты здесь? Я не могу ни о чем думать, забываю, что существую на свете, хочу только смотреть на тебя и радоваться, что Бог создал тебя такой прекрасной... и такой доброй, и такой моей!

— Болтун!

— Ты уходишь, и что же мне остается, как не вспоминать о тебе?

— Ну, да, вспоминать для того, чтобы делать то, что я хочу.

— Нет, дорогая, нет. Вспоминать, чтобы думать о тебе, видеть тебя, чтобы говорить себе: так она вошла сегодня утром, здесь сидела вчера вечером, так повернула лицо, когда уходила, так смеялась третьего дня, когда мы возвращались с прогулки, такой у нее был голос, когда она говорила мне то-то, так у нее дрожали губы, когда я сказал ей это... так она хмурит брови, когда сердится, потому что вспоминать даже о том, как ты на меня сердилась, для меня счастье.

— Нечего сказать, недурно! — говорит она, стараясь быть серьезной, но закусывая губы и опуская глаза, чтобы лицо не выдавало ее внутреннего восторга.

— Вот видишь, какое преступление: я сажусь здесь, в это кресло, откидываю голову, закрываю глаза и мечтаю о тебе!

— Куришь и пьешь чай.

— Потому что это помогает мне мечтать.

— Значит, выходит, что тебе нужен яд, чтобы помнить обо мне. Очень хорошо! Только этого не доставало!

— Да нет же...

— Ах, нет?!

— Ты для меня все, все, клянусь тебе! Но поэтому ты нужна мне всегда, всегда, постоянно! Для тебя это не так; ты сильна, здорова телом и душой; у тебя хватит воли и на себя, и на меня, и на весь мир. Сколько раз ты велишь мне сделать что-нибудь, а делаешь это сама, еще не договорив. Ты меня так любишь. Да, ты меня любишь, я знаю!

— Больше жизни!

— Ты меня любишь, но можешь, расставаться со мной, уходить в мастерскую и работать, и голова у тебя настолько свежа, что ты можешь думать о любви в то время, как руки твои пьют, а рот поет... А я... я, ведь, родился от больного отца, который умер за полгода до моего рождения. Моя мать... Пусть Бог простит ей то зло, которое она мне причинила, желая мне добра! Она говорит, что воспитала меня для будущей жизни, и что я не гожусь для этой. Она столько страдала в этом мире, что желает для меня только неба; но для того, чтобы попасть на небо, воля не нужна, и она отняла у меня волю,

и знаешь, как? Страхом. Если бы ты знала, какое у меня было детство! Как я боялся ада! Даже дышать казалось мне смертным грехом. Даже ночи, какие ужасные, кошмарные ночи! Я просыпался в холодном поту и не смел крикнуть! С тех пор у меня начались эти сердцебиения. У меня не было товарищей из боязни дурных примеров, не было честливости, из боязни гордости, не было увлечений, из боязни чувственности; но у меня были мечты, одинокие, молчаливые, бесконечные мечты, в нашем замке, где летом и зимою я сидел по вечерам с матерью, которая шила или молилась. Я читал только жития святых или стихи. Понимаешь, какая странность, моя мать ненавидит романы, стихам же не придает значения, они кажутся ей игрушкой, цветами безобидного фразерства. А сколько я знал на память стихов, Господи Боже! В пятнадцать лет мне дали лошадь и ружье, и я продолжал мечтать под деревьями, стреляя птиц. И, подумай, какой ужас: мне нравилось убивать бедных птиц, только, чтобы сделать зло, которое не считалось грехом. В восемнадцать лет мать позволила мне курить, но только турецкие папиросы, потому что она не выносит запаха другого табаку, и вот так и шло, стихи и курение, стихи и прогулки, поля и охота, страх и одиночество, и стихи, и опять сначала... и мечты... мечты. Так я жил всегда; теперь я живу тобою, чтобы мечтать с тобою. Ну, отчего же ты стала так грустна?

— Нет, нет...

— Не говоря уже о том, что грустить тебе не о чем: я замечаю, что начинаю изменяться.

— Правда?

— Да, из-за тебя! Твоя жизненная сила разительна; я стал гораздо веселее, немного походя я стану работать, и, пожалуй, сделаюсь даже честолюбцем, если ты захочешь. Клянусь тебе, что с завтрашнего дня я буду ходить на лекции и брошу курить.

— С сегодняшнего; выйдем вместе, и я дойду с тобой до университета.

— Нет, я пойду с тобой и вместе погуляем.

— Вот так — так! А мастерская?

— Счастливая мастерская! Не знаю, какая тебе надобность работать? Ты такая экономная, неужели тебе не хватило бы того, что имею я?

— Хватило бы, но... я ведь тебе уже говорила...

— Пожалуйста, не повторяй; я уж знаю твой конек: «меня никто не будет содержать». Все гордость, гордость!

— Ну, так что ж?

— Ничего, ничего; ты имеешь право на всякую гордость.

— В самом деле?

— Да.

— Однако, пойдем.

— Ты уж уходишь?

— А ты идешь со мной?

— Гулять?

— На лекцию!

— Завтра, клянусь тебе, завтра. Но оставь мне этот день, только этот, последний, безусловно последний, чтобы проститься с моими мечтаниями... Поцелуй меня... обними еще раз! Благословен университет который привел меня в Мадрид, и благословен час, когда ты встретила на моем пути! Одевайся хорошенько и возвращайся скорее... Прощай, прощай... Засмей-

ся же, ты ведь перестала сердиться, правда? Вспоминай меня, сколько бы ни было воланов на той юбке, которую ты будешь шить. Прощай... чего ты смеешься?

— Этому коридору конца не будет. Видал ли кто такого невоспитанного мальчишку! Ну, довольно. Смотри же, ты совсем растрепал меня! До свиданья, противный. Пойди простиись со мной с балкона.

На балконе. Какой чудесный день! Он смотрит, как она удаляется, быстро-быстро, навертывая потерянное в коридоре время. Какая у нее походка! Легкая и твердая, как будто она уверена, что мир принадлежит ей. Вот она смотрится украдкой в зеркало на витрине, наверное, засмеялась и подумала о нем, увидав, что такая хорошенькая. Вот, остановилась поднять упавшего ребенка. Как осторожно она его поднимает; стряхивает с него пыль и вытирает лицо платком. Поцелует она его или нет? Нет, не поцеловала, идет дальше. Вот дошла до угла и обернулась, чтобы проститься с ним жестом. Какие у нее жесты, и материнские, в то же время детские. Вот ее уже не видно... Да, материнские: охраняющие, убаюкивающие, умиротворяющие. С тех пор, как она с ним, кончились все ночные ужасы, мучительные пробуждения, ощущение, что воздух точно затвердел или что кто-то сбрасывает его с вершины в пропасть, на дне которой находится неизбежный ад. Она поцелуем закрывает ему глаза, и после этих двух поцелуев он не хочет раскрывать их до утра, до двух других поцелуев; но иногда он просыпается, и тогда, что же ему делать, как не смотреть на нее, спящую? Она не просыпается никогда, и спит так спокойно, что едва заметно ее дыхание; иногда она улыбается

во сне, а коса у нее большая и длинная, и на белой простыне кажется совсем черной. Сколько раз целовал он эту косу, такую мягкую и пахнущую фиалками!

Уже вечерет — в январе дни короткие — и на балконе становится холодно. Внутри, в комнате, последний луч солнца играет на стеклах буфета; розы пахнут сильно, кресло манит мечтателя мягким пособничеством своих ручек. Что ж, помечтаем! Что-то она сейчас делает? Может быть, болтает с товарками, или смеется... Ах, поцеловать бы ее в губы, когда она смеется. Потому что сорвать с губ женщины смех вместе с поцелуем все равно, что напиться воды прямо из ключа, припав к земле в том месте, где он, играя, выбивается из-под омытых и холодных камней; у нее губы холодные, хотя и очень яркие; а зубы еще холоднее; вот именно, холодные и белые, как камешки в воде...

Да, благословен университет, и тысячу раз благословен законодатель, признавший, что только мадридский университет может создавать докторов философии и словесности! И благословен каприз матери, решившей во что бы то ни стало сделать из него доктора. Боже мой, что за скучные годы учения в деревне со старым гувернером, и путешествия в Вальядолид для сдачи экзаменов, и хорошие отметки, которые ставились из уважения к синьоре маркизе; а потом жестокая борьба старухи, борьба между ее пристрастием к голубой докторской кисточке и отвращением к столице, когда гувернер заявил, что не может направлять дальнейшие занятия своего питомца! Поехать ей в Мадрид? Ни за что! Отпустить сына одного? Потому что нельзя же в двадцать два года отправить его с гувернером...

Габриэль сам удивляется, услышав свой смех. Еще бы! Этот смех — первая и решительная победа любви Марианы... Мариана! Какое нежное имя, и какое звучное от трех а; оно выражает честность, верность, доброту, здоровье, власть. — Да, она моя владычица, и возлюбленная, и руководительница, и спасение моей души, единственный смысл моей жизни... Ах, Боже мой, как болит сердце, и как сладко мне, что оно так болит!

III.

Должно быть, в письме Габриэля, полученном в первых числах октября в горном замке, заключались важные известия, потому что, прочитав его, синьора маркиза с скорбным величием нахмурила брови, призвала на совет старого гувернера и надолго заперлась с ним в своей комнате. Сын уже и раньше раздосадовал ее — начиналось вечное мучение! Всю зиму он писал едва-едва раз в месяц и, наконец, в июне удостоил сообщить матери, что так как он не сдал нескольких экзаменов, то не может получить звания доктора раннее сентября, и, чтобы не прерывать занятий, останется на лето в Мадриде. Маркиза чуть не поехала в столицу, но гувернер отговорил ее, доказав, что докторантские экзамены очень трудны, и похвалил усердие юного студента, решившегося посвятить месяцы отдыха науке. Неизвестно, убедилась ли маркиза или нет, но она неохотно уступила и стала писать сыну послания, переполненные благочестивыми наставлениями. Настал сентябрь, а с ним и конец терпению почтенной синьоры. Последние двадцать дней месяца она провела в тшетном ожидании

почтальона. В конце концов, она послала телеграмму, строго требуя вестей; в ответ пришла телеграмма: «Здоров, не сердись, сегодня пишу». И через два дня пришло письмо.

Что заключалось в нем? Тайна,—но после совещания с губернатором, синьора приказала уложить небольшой чемодан и запретить доисторическую карету; взяла с собой много денег и уехала в Сантандер в сопровождении вышесказанного губернатора и горничной Висенты; а вечером кучер, вернувшийся с пустой каретой, сообщил удивленной прислуге, что барыня, учитель и горничная сели в курьерский поезд и поехали в Мадрид.

В Мадрид! Наверное, наследник умирает!

Но нет, он не умирал, а впал в смертный грех и втапывал знаменитое и незапятнанное имя в грязь проституции! В таком виде рисуется разгневанной маркизе любовь ее сына. Подобными словами порядочные люди нередко клеймят чувства, сколько-нибудь возвышающиеся над моральной границей их робкой совести, в особенности, если в дело замешается любовь. Приходится удивляться внезапному и совершенно особому ужасу, который внушают таким праведным душам нарушения седьмой и десятой заповедей, как будто адский пламень был зажжен только ради этих заповедей, а все остальные веления закона—второстепенного значения.

Напрасно губернатор старался умерить ее священный гнев разумными, повидимому, рассуждениями.

— Может быть, она хорошая девушка. Может быть, он честно и искренно полюбил ее, синьора маркиза. Ведь, вы понимаете, если бы она не была достойной женщиной, то синьор дон Габри-

эль не говорил бы того, что он говорит в своем письме. Кроме того, синьора маркиза, признанный ребенок как бы освящает отца и мать. Законы церкви говорят так, синьора маркиза.

— Что они могут говорить, Господи, что они могут говорить! Это оттого, что вы, мужчины, все извращаете и перетолковываете, лишь бы защитить друг друга.

— Синьора, я, в мои годы, уже не нуждаюсь в защите.

— Уж не станете ли вы утверждать, что оттого, что у них родился ребенок, эта преступная связь может превратиться в брак?

— Если он дал слово жениться на ней, то да, синьора.

— На падшей женщине! В самом деле?

— Даже на падшей, синьора, если обещал. Вам известно, что брак основывается только на согласии тех, кто его заключает. Это в том случае, если она действительно то, что вы предполагаете.

— Но, Боже мой, Боже мой, что же будет?!

— Там увидим.

— Нечего и смотреть! Сегодня же мы приедем в Мадрид, а завтра Габриэль вернется домой с нами.

Путешествие, разумеется, совершалось в молчании; маркиза не желала обсуждать в поезде, публичном месте, дело, столь близкое ее душе, а никакие другие темы ее не интересовали. Ночь она провела в горьких размышлениях. Шел дождь; на станциях голоса, звуки, огни и люди казались какой-то скорбной фантасмагорией. На рассвете маркиза, никогда не выезжавшая из своей провинции, с почти болезненным волнением увидела кастильскую равнину. Ни деревьев, ни зеленых лугов, ни журчания воды! Земляные

деревушки, серые в пелене дождя, бедные домики, с'езившиеся, точно от холода и страха возле башни—доже серой... Возможно ли, что так будет до самого Мадрида, столицы Испании, этого центра греховных наслаждений, соблазняющих мужчин и губящих души столь мерзкими путями? Она ожидала, что в царство соблазна ведут дороги, вымощенные, по меньшей мере, яшмой и алебастром, и что этот современный Вавилон окружен золотыми стенами.

А Мадрид, под серым дождливым октябрьским небом, утром некрасив и грязен, особенно для глаз, привыкших к мелодичному и ароматному деревенскому дождю; а после бессонной ночи в поезде, сырой воздух без солнца вызывает озноб и недомогание в теле и располагает дух к резкой нетерпимости. Поэтому, без преувеличения можно сказать, что в это утро олицетворенный трагический рок приближается в карете к хорошенькой, пахнущей розами и турецким табаком квартирке, где в течение целого года переплетались смех и грезы Габриэля и Марианы.

Теперь там никто не смеялся, и страстные грезы сменились тревожными образами; потому что, хотя любовь и принесла сына, но вместе с ним она принесла и болезнь, и дух молоденькой швеи, блуждающей в бредовых лабиринтах лихорадки, не мог больше настраивать на безмятежный лад окружающие ее предметы и души.

— Она очень плоха, бедняжка?—спрашивает Инеса уходящего врача.

И врач отвечает, зловеще покачивая головой.

— Родильная горячка—вещь всегда серьезная: но у нее здоровый организм. Посмотрим.

Габриэль ходит по дому, как тень, не ест, не спит, почти не думает; вся душевная энергия его превратилась в ужасающий взрыв страха. Мариана не смотрит на него, не говорит с ним, не узнает его. Он еще не дошел до того, чтобы в первый раз сказать себе «может быть, она умирает», но в воздухе носится что-то неуловимое, возвещающее неизбежную разлуку: словно душа его сверглась с высоты, и он сам бессмысленно, без конца, созерцает разрушение, которого не в силах осознать.

Когда родился малютка, он почувствовал такую гармоническую полноту жизни! Любимая улыбалась сыну и ему, и он понял, что навеки связан, единой душой, с этими двумя существами. С переполненным блаженством сердцем он написал матери письмо, в котором сказал свои первые мужские слова, высказал свое первое убеждение в праве на жизнь и любовь; но на другой день появился жар, начался бред, и с ним бессвязные слова, в мутных глазах почудилась страшная угроза, и тогда проснулись все прежние страхи, и новорожденный мужественный дух Габриэля, точно став добычей бешеных псов, был побежден и снова впал в младенчество. В запущенное младенчество, когда сердце его терзали бесформенные и безымянные призраки. О, этот вечный, неизгладимый страх! Страх ночи, страх света, страх смерти, которая, несомненно, притаилась где-нибудь в спальне, и в особенности страх самого дорогого, Марианы, смерть которой, быть может, предрешена, страх самого себя, увлекаемого ею и с нею!.. Какой ужас смотреть на нее и видеть под раздуряившейся от жара кожей резкие линии черепа, смотреть на себя и видеть в зеркале такие же голые кости под мерт-

венной бледностью этих тонких покровов! Нет, нет, не надо смотреть ни на нее, ни на себя!.. И все же, каждую минуту он бросался к кровати или к зеркалу, дрожа, шатаясь, и сердце его мучительно билось, и он желал сразу умереть, чтобы избавиться от страха смерти.

Инеса, ухаживавшая за больной, тоже чуть не умирала от испуга, при виде его беспорядочных метаний; безумие поселилось в прежде таком веселом доме, и, конечно, самой безумной была не больная, и самыми бессвязными были не те слова, которые она произносила в бреду. Иногда в бреду она смеялась, и, слыша этот смех, Габриэль колотился головой об стену, об мебель, точно резкие вибрации этого смеха, мрачной карикатуры на прежние серебристые звуки, впились в него тысячами кинжалов. Потом он упал в кресло и сидел целыми часами, дрожа, не смея шевельнуться, даже дышать, из боязни разбудить отвратительного духа, который должен унести всех...

Так его застала мать в это осеннее, ненастное и дождливое утро. Инеса, выйдя на минутку на улицу, не заперла за собой дверь. Маркиза вошла в безмолвный дом, как видение.

— Габриэль, Габриэль!

Он лежал в кресле, закрыв лицо руками, и, услышав голос, поднял голову и смотрел, не видя, остановившимися глазами.

— Это я, твоя мать.

— Нет, нет!—закричал он, обезумев от ужаса и убегая от предполагаемого видения.—Мариана, Мариана!

— Куда ты?—строго сказала мать, положив ему на плечо руку.—Зачем ты бежишь от меня? Не смотри на меня такими глазами, я не с того света.

— Зачем ты приехала?—замирающим голосом выговорил он.

— Чтобы спасти тебя, увести тебя, домой.

— Нет, нет!

— В твой дом, откуда тебе никогда не следовало уезжать.

— Нет, нет... мой дом здесь... здесь мне хорошо, и я должен оставаться здесь. Уходи, мама, уходи...

— Здесь!—сказала мать, презрительно оглядывая комнату.—Здесь твой дом! Это дом гибели, который свел тебя с ума. Стоит только взглянуть на тебя! Не смотри на меня так! Скажи спасибо матери, что она решила переступить этот порог, и пойдем. Кто это смеется?

— Это Мариана, Мариана. Не входи! Не убивай ее!

— Кто говорит об убийстве, сумасшедший!—сказала мать, решительно входя в спальню.

В полумраке спальни на белых простынях едва можно было различить разметанные и спутанные волосы; и из белого полотна и темных кудрей вылетал непрекращающийся смех...

— Не подходи, не прикасайся к ней!

Но мать подошла, движимая болезненным любопытством. Каковы эти женщины-змеи, которые так затемняют разум мужчин? Наклонившись и приглядевшись к полумраку, она увидела лицо Марианы: ярко-розовое от лихорадки, с распущенными волосами и непомерно широко раскрытыми глазами, оно казалось более, чем когда-либо, детским. Бедняжка продолжала

смеяться звонким смехом счастливого ребенка, и Габриэль, вцепившись в перекладину кровати, слушал ее смех, смотря на мать, скованный ужасом, как человек, к которому подходит сама смерть. Маркиза сделала легкое презрительное движение и выпрямилась: выходя из спальни, она задела за колыбель, ребенок зашевелился и всхлипнул: она остановилась.

— Твой сын! — с усилием проговорила она.

Мариана перестала смеяться.

— Да! — сказал Габриэль, на минуту приходя в сознание, — ты видишь, что это мой дом, потому что здесь у меня сын.

— Ни твой, ни его. Так как он, по твоей вине, родился в позоре, то мой долг заставить его узнать то, что ты забыл, то, чему его... мать не сможет научить его. Мы возьмем его с собою.

— Нет. И я тоже не поеду. Мы будем жить здесь, с ней, всегда, всегда...

— Да ты с ума сошел! Понимаешь ли ты, что говоришь? Здесь, с ней, всегда... как сейчас... то есть, как отщепенец, оскорбляя Бога и свою мать... Мать еще может простить, но Бог мстит и карает, потому что он справедлив. Да, он мстит, умоляя для тех, кто не хочет слушать Его голоса. Не смотри на меня так!

Глаза Габриэля расширились от нового ужаса. Бог мстит, это правда! Он не вспомнил об этом: глубоко и внезапно раненый любовью, он не имел времени подумать, что сладостная рана может быть преступлением. Бог мстит! Значит, ее болезнь, а может быть, смерть — мщение Бога.

Да, да, мщение Бога за грех, который они совершили, любя друг друга... мщение, неумолимое, огромное, как паутина, обволакивающая весь мир. И как прорвать ее, как бежать, как освобо-

диться от этой грозной и огромной сети! Безумие вспыхнуло в его глазах... все детские страхи хлынули в его несчастную грудь, и, задыхаясь от сердцебиения, он повалился в кресло.

Мать продолжала свои мучительные увещания; она говорила, как одержимая, как истеричка, какой она и была, как женщина с извращенной душой, которая в дни далекой молодости, может быть, умела волноваться сочувствием, но теперь была извращена целой жизнью страданий, одиночества и необычайной ожесточенностью, сумевшей усвоить от мистического костра только жажду испепеления. Она порицала любовь сына — с озлоблением всей жизни, знавшей в любви только измены — она вышла замуж молодой за порочного и класстолубивого маркиза, который растратил свою жизнь, не говоря уже о деньгах, на приключения низкого пошиба, изменял ей чуть ли не с первого дня свадьбы. Она говорила резко, страстно, как ангел-мститель, как неумолимый палач... говорила, не умолкая, а сын, подавленный, неподвижный, впившись трусливыми глазами в ее горящие зрачки, переживал поочередно все ужасы своего грустного детства и, наконец, впал в бессмысленное оцепенение, судорожно вздрагивал, полураскрыв рот, и странно плакал, без всхлипываний, и тихие слезы медленно катились по его щекам... Плакало одно гело, потому что душа была далеко, спящая или мертвая. Мать умолкла, несколько изумленная, потом взглянула на него и поняла: припадок. Надо воспользоваться благоприятным моментом.

И, обернувшись к гувернеру, который, стоя неподвижно, наблюдал эту сцену, перепуганный едва ли меньше Габриэля, она повелительно сказала:

— Помогите мне. Мы снесем его в карету, потом Висента поднимется с вами и возьмет ребенка; мы уедем сегодня же вечером, вы остаетесь здесь, чтобы уведомить тех, кто придет, потому что, вероятно, есть же кто-нибудь в доме, кто ухаживает за этой женщиной.

— Но, синьора, — начал было гувернер.

— Иначе нельзя. В деньгах не стесняйтесь, пусть будет сделано все, что нужно, пусть ее хорошенько лечат... и пусть она никогда не вспоминает даже его имени.

— Но, синьора... ребенок...

— Ребенок наш. Ну, помогите же мне. Или и вы тоже сошли с ума?

Они подняли «Маркизика» за руки, и он, разбитый, бледный и в слезах, дал поднять себя, спустился с лестницы того дома, где оставалась его любовь, и отсутствующая душа его даже не шепнула ему о крушении его хрупкого счастья. Мать поддерживала его, гордая и спокойная, страдая, может быть, при виде страданий сына, но довольная своим героическим спасением. Так как несчастный не сопротивлялся, она усадила его в карету с нежной лаской, на которую способны даже самые черствые женщины, ухаживая за людьми, в годы их детства, в часы сна, болезни, смерти, пеленая ребенка, обмывая рану, убирая покойника. Она отерла слезы на лице сына, пригладила ему волосы, поправила платье, все это без улыбки, без вздоха, потом подвинулась, дав место горничной, принесшей ребенка, и кратко сказала кучеру, куда ехать. Люди на лестнице с изумлением смотрели на отъезд «синьорито». Инеса, торопившаяся домой, чуть

не упала в обморок, увидев в коридоре странную фигуру гувернера и услышав его еще более странные и запутанные объяснения.

Шел отчаянный дождь, серое небо оплакивало разбитое счастье, холодный и сырой воздух убивал всякое зерно надежды, как будто солнцу суждено было никогда не вернуться! А в спальне продолжали звучать страстные и бессвязные речи, рассыпались, точно порванное жемчужное ожерелье, слова, привыкшие соединяться для того, чтобы говорить о любви, звенел светлый и чистый, как майский дождь, смех.

IV.

Замок маркизов Гутьерре де-Веласко создан, должно быть, фантазией больного мозга, потому что только у болезненно влюбленной в грусть души могло явиться желание выбрать себе жилище в таком унылом уголке тихой и смеющейся долины.

По выходе из ущелья, шумного и благоуханного, потому что по скалистым склонам его растет множество душистых трав и стекают бесчисленные тонкие струйки воды, горы расступаются и укрывают в широком лоне своем равнину, где на вольном просторе, залитые светом, раскинулись семь деревушек и столько же отдельных ферм. Долина обработана и возделана, как сад: здесь — веселые поля маиса; там — луга с рядами тополей, обозначающих межи, а у подножия тополей — ручейки; с одной стороны — огороды, клочки земли перед каждым домом, засажженные картофелем и капустой, а в садах — каштаны и ореховые деревья, такие же каштаны и орехи на эспланадах, которые перед церквями

заменяют общественные площади; кустарники на улицах, над каменными стенами, отделяющими владения; в горных морщинах—каменный дуб и папоротники; повыше—величавые и развесистые дубы; на вершинах—туман.

Туман, который часто падает на всю долину. И нельзя с уверенностью сказать, когда этот вид больше чарует зрение и сердце более глубокой поэтичностью—в дни ли с лазурным небом, когда теплое солнце царит над разнообразными оттенками зелени, играя золотом и рассыпаясь брильянтами по листьям и каплям росы, или же в другие дни, пасмурные, когда туман окутывает тайной каждый лист и населяет мифами каждый луг; когда тополя, скрытые клубами испарений, кажутся лишь более темной тенью в перламутровой дымке; когда ручейкам грезится, что они снова на вершине высоких пиков, где бродят облака, напиваясь свои крылья, которые потом великодушно отряхнут над равнинами.

В этой веселой долине есть печальный уголок, и в нем одному из маркизов Гутьерре де Веласко вздумалось устроить приют для своей меланхолии. Он находится на северо-востоке; горы образуют там черный выступ; обнаженный склон торчит, как каменный скелет; почти прилепившись к нему, возвышается замок, чуть-чуть менее черный, чем самая гора, с аспидной, нахлובченной крышей, большими решетками в нижнем этаже и висящими балконами в верхнем; внизу сад, окруженный высоким забором, над которым виднеются деревья, тянущиеся к солнцу, орехи, платаны и кипарисы. Вокруг—безмолвие и какая то робкая пустыньность, как будто поселки, спасаясь от злобещей тени, умышленно удалились от замка. Перед главным фасадом—

большая поляна, на газоне которой трепещет тень двух огромных каменных дубов; если бы в этот уголок проникло современное увлечение спортом, то поляна была бы великолепной площадкой для тенниса, и это было бы счастьем, потому что, может быть, и мрачный фасад замка улыбулся бы при виде движущихся в грациозном и стройном беспорядке девушек и юношей в белом, в соломенных шляпах и дышащих здоровьем и весельем.

Но теперь на эспланаде нет никого: тень высоких дубов падает просто и трагически на несмятую, унылую траву. Время близится к закату; над всей долиной царит мирная тишина, подчеркиваемая неизбежным звоном бубенчиков и, изредка, отдаленным криком подростка, пасущего корову, или голосом матери, зовущей подростка. Сумерки еще не принесли желания облегчить пенем сердце: телеги, мужчины и девушки еще не возвращаются с маисовых полей; день еще спит в этой «фазе вечности», которая длится с одиннадцати часов утра до трех пополудни; это как бы расцвет его молодости—от двадцати до тридцати пяти лет—когда день и человек забывают думать о своем возрасте.

Поляна пуста; в покоях замка тяжелая старинная мебель и люстры с хрустальными подвесками ловят слабый солнечный луч, проникающий сквозь спущенные жалюзи; скользящие зеркала грезят о дне, когда в дверь проскользнет хорошенькое личико, и о часе, когда растворенные окна отразят в них кусочек мирного веселья долины. Изредка прозрачным шагом пройдет слуга; в часовне одинокая лампада мигает от страха; в библиотеке старый гувернер погружен в вечное

чтение; в саду растянувшийся в гамаке Габриэль бесконечно курит, а в колясочке-колыбели дремлет ребенок.

Осень неожиданно сменилась теплым летом; день тихий, солнце сладко греет; в неподвижном воздухе временами чувствуется тонкий запах тления опавшей листвы.

По приезде из Мадрида Габриэль проводит почти все время в этом гамаке, в саду: всякое напряжение активной воли как будто навеки умерло в его душе, но зато он проявляет непоколебимое пассивное упорство. Он не возмущался против материнской воли, не выражал желания вернуться в Мадрид, ни даже написать письмо, но никто не мог добиться от него ни одного слова, ни малейшего движения, которое обнаружило бы какой-либо интерес к происходящим вокруг него событиям; он встает в полдень, к большому изумлению привыкших рано вставать домочадцев, молча завтракает, выходит в сад, ложится в гамак и лежит до самого заката; тогда он возвращается в комнаты и дожидается ужина, сгорбившись в кресле; ложится рано; вид у него не больной, а только рассеянный, он часто закрывает глаза. Почти все время ребенок должен находиться возле него; если иногда, думая, что он спит, маркиза или кормилица хотели унести мальчика, он открывал глаза и требовал, чтобы ребенка оставили с ним; по счастью, ребенок родился здоровым и плакал очень редко. Так проходили дни: октябрь не выпускал своих туманов, и небо милостиво улыбалось; год безмятежно старелся, обладая, несомненно, спокойной совестью.

Синьора маркиза подходит к окну нижнего этажа; смотрит на гамак и на колясочку; взгля-

дывает на небо, вздыхает протяжным и многозначительным вздохом, в который набожные души вкладывают молитву, и затворяет окна; немного погодя она появляется в дверях и медленно спускается с лесенки. Она маленького роста, худощавая, с тонким, острым лицом; волосы у нее необычайно черные, перемешанные с необычайно белыми нитями; глаза, когда-то, должно быть, красивые и блестящие, уже потускнели от многих слез, пролитых в годы, когда жизнь должна была бы улыбаться ей. Она одета, как кармелитка, движения у нее живые, и речь умышленно краткая.

Подойдя к колясочке, она поправляет одеяльце, но не ласкает ребенка, потом подходит к гамаку и смотрит на сына, который не шевелится и не открывает глаз.

— Габриэль, что ты делаешь здесь так поздно? Почему не идешь домой? Солнце садится, в саду сыро, и вы оба простудитесь.

Габриэль открывает глаза, но он не отвечает: он мог бы сказать, что ему нравится чувствовать приближение вечера в печальном саду, под листьями, вздрагивающими от легкого ветерка, всегда поднимающегося на закате, но так скучно подбирать слова!.. Да, мысли должны бы быть прозрачными, и ум должен быть видим уму, как светляки ночью.—Какая глупость!—думает он,—сравнивать мысли с светлячками, жалкими червями, у которых все тельце напитано светом... Они напитаны светом, как мы напитаны горем, или радостью, или скукой... потому что все эти чувства кажущиеся душой, на самом деле не принадлежат душе, нет; они приходят извне, издалека, и падают на нас, как роса на землю... не всегда, как роса... когда они горестны, они па-

дают, как противный, грязный зимний дождь в городах, и пронизывают нас, и оставляют нас продрогшими, несчастными и угнетенными... Какой-то поэт сказал: «Я поднял горсть песка на берегу моря; мокрые песчинки проскользнули между моими пальцами... Увы, мне не удалось удержать ни одной!»

— Увы! мне не удалось удержать ни одной!— вслух заканчивает Габриэль свои сбивчивые размышления и, очнувшись от звука собственных безнадёжных слов, заливается слезами.

— Габриэль, что с тобой? О чем ты плачешь?—спрашивает мать.

Он совершенно забыл, что она здесь, и смотрит на нее с удивлением.

— Уже поздно,—настаивает она,—пойдем домой; приходил священник и спрашивал о тебе, но я не послала за тобой, потому что он торопился. Ты слышишь меня?

Да, он слышит, но странным образом, как будто слова, утратив все свое обычное значение, но сохранив прежнюю роль передатчиков идей, преобразились из звуков в формы, даже еще менее, в границы пространства с неведомыми свойствами, не доступными ощущению чувств; эти два—большие, твердые, и еще какие-то... нет слов, чтобы выразить их новое состояние! А вот это—совсем маленькое, и растет, но извне внутрь; а это—острое, как кинжал, но кинжал алмазный, и он падает, превратившись в капли, на воду старого пруда... и как больно тинистой воде от того, что на нее падает кинжал, потому что вода, заросшая водорослями, мутная и больная — не более, не менее, как сердце. Ах, как болит сердце!

— Хуана, Карлота!—кричит маркиза в испуге;—скорее идите сюда, синьорито дурно. Хуана, Карлота!

Служанки и гувернер прибегают на зов и окружают гамак. Габриэль в обмороке, и лицо его в зеленоватом отсвете деревьев мертвенно-бледно. Все молча смотрят на него, и он начинает беспокоиться; хотя глаза его закрыты, он чувствует, что на тело его падают взгляды окружающих, и каждый взгляд, словно острая игла.— О, уйти бы в пещеру без света и без смотрящих глаз! Что это за шум? Да, да, в пещерах часто бывает слышен такой отдаленный шум моря... Уйти бы в море, ночью, выбить дно у лодки и тихонько, тихонько, медленно погрузиться в объятия воды, такие мягкие и свежие...

— Кажется, он лишился чувств,—говорит гувернер.—Сбегайте за доктором, Хуана, а ты Карлота, помоги мне поднять его.

— Ах,—вздыхает маркиза.—Да простит Бог эту скверную женщину! До чего она довела его!

Уже темнеет, когда они входят в замок; ребенок, забытый в колясочке, открывает глаза и начинает лепетать что-то, как будто говорит со звездой, заглянувшей в сад.

V.

В «говорилке» на утро случай этот обсуждается с большой серьезностью и немалой философией. «Говорилка»—бакалейная лавочка, усложненная табачной и таверной, служащая одновременно местом стоянки дилижанса, по расписанию ходящего в Сантандер и возвращающегося в долину с седоками и багажом. Многообразные специальности лавочки обеспечивают ей большое

количество клиентов; в деревушке имеется с полдюжины лентяев, которые приходят развлекаться в то время, как жены их работают в поле; у двоих «супруги» прислуживают в замке, и они приходят поважничать на их сбережения, кроме того, тут толкуются прохожие, нищие, странствующие торговцы, барышники, приходящие присмотреть коров; лавочка стоит у самого входа в ущелье и служит как бы ключом и пламбаумом ко всей долине... Сегодня, кроме хозяйки—пятнадцатилетней толстой, растрепанной и веселой женщины,—в лавочке находятся две торговки с корзинами за плечами, босые и в подоткнутых юбках, и трое из вышесказанных лентяев и почтенных капиталистов.

— Были вы нынче у Веласко?—спрашивает хозяйка торговков.

— Я была,—отвечает старшая,—и видела, что там делается. Жалко смотреть на несчастного! И что только за негодные женщины в Мадриде!

Так отделать мужчину в цвете лет!

Другая торговка пронзительно смеется. Она—девушка и свежа, как куст гвоздики.

— А ты чего смеешься, девчонка? — спрашивает один из стариков.

— Над злыми женщинами и над добрыми мужчинами. А по моему, так ей нечего было много хлопотать, чтобы погубить парня, мужчины сами падки на эту погубель...

— Много ты знаешь, посмотрю я на тебя.

— Вот я и смеюсь. Жалко смотреть на несчастного! Еще бы, потому что ему хочется вернуться к ней. И очень хорошо будет, если он сделает, как хочет! — заканчивает она, делая смелый полуоборот, при котором обнажаются прелестные ноги бродячей Дианы.

— Очень будет скверно! — возмущенно протестует лавочница; ее почти официальный пост продащицы табаку естественно склоняет к консервативным взглядам: — очень будет скверно, потому что господа должны водиться с господами, а не унижать свое имя с какими-нибудь тварями... взять хотя ребенка, сколько бы у него ни было денег и роскоши, все-таки он всегда останется сыном своей матери. А ты говоришь — хорошо!

— Плохо то, что она отпустила его. Что мое, то мое, хоть бы семь маркиз сразу пришли отнимать у меня ребенка...

— Говорят, — вмешался благообразный мужчина, — что синьора дала ей хорошие деньги.

— А мне хоть бы на вес золота заплатили, я и то не отдала бы. Хочешь сына? Так бери и мать, потому что куда иголка, туда и нитка.

— А она вот довольна: деньги, милая, сглаживают. Она подумала: я буду воспитывать сына на свои трудовые гроши, и вырастет он бедняком, а там его будут держать, как барчука... А кроме того, со временем, он, может быть, и не откажется от своей матери... ведь, тому, у кого есть, легче дать, чем тому, у кого нет. Верно, Кико?

Кико — смуглый и бравый парень лет двадцати пяти; повидимому, он явился на свет, чтобы докончить вторую серию подвигов Геракла: такой атлетической фигурой наградила его Провидение; сейчас, за отсутствием, должно быть, подходящего случая для геройского подвига, он вырезывает кончиком навахи сложные узоры на ветке орешника; до сих пор он не раскрыл рта, но, услышав вопрос лавочницы, поднимает глаза, лукаво подмигивает и мудро изрекает:

— Всяк сам по себе!

Эта глубокая сентенция сразу заканчивает разговор; так, гении обладают привилегией последнего слова. Наступает трагическое молчание; все смотрит друг на друга; старая торговка вздыхает, лавочница воздымает глаза к небу, мужчины за кружкой пива смакуют глубокую мудрость геркулеса, снова погрузившегося в свою кропотливую работу; молоденькая торговка подходит к двери.

— Вон идет дилижанс! — кричит она немного погоды.

Действительно, из ущелья уже доносится звон бубенчиков, голос кондуктора, громкое хлопанье бича; все кидаются смотреть, побуждаемые чувством ненасытного ожидания, которое всех нас гонит к окну, когда мы находимся одни в квартире, и заставляет смотреть в глаза всякому, говорящему с нами наедине, останавливаться, когда проходит поезд, прислушиваться к шагам на лестнице, хотя мы никого и не ждем, и ждать прихода почтальона, даже зная, что ни от кого на свете нам не может быть письма.

На этот раз любопытство посетителей «говорилки» получает неожиданное и призывильное удовлетворение: когда дилижанс останавливается, из него выходят две незнакомки; обе молодые и такие хорошенькие, что у философа Кико выпадают из рук и ветка и наваха. Приезжие — ни барыни, ни крестьянки, они в светлых платьях, изящно обуты, с непокрытой головой и красиво причесаны; при движении сильно шумят накрахмаленными юбками и... пахнут очень хорошо; последнее замечание делает, немного удивленная, молодая торговка.

— Это здесь? — спрашивает одна из приезжих кондуктора, который подтверждает жестом. Лавочница любезно поднимается.

— Нужно взять багаж?

Нет; приезжие путешествуют, как сказочные принцессы, без всякого багажа, кроме собственной красоты.

— Не угодно ли подкрепиться чем-нибудь?

Вот это — да; хорошо дать телу то, что ему требуется: стакан молока утром всего лучше; кетати, корова на дворе, ее только что подоили. И воды, вымыть руки и лицо. Путешественницы восторгаются деревенским молоком.

— Такого не найдешь в Мадриде! — говорит одна, медленно потягивая теплую пену.

— Они из Мадрида! — таинственно говорит Кико, слышавший замечание, и все дивятся его догадливости.

Умывшись, страхнув дорожную пыль с платьев и волос, путешественницы справляются о времени.

— Половина одиннадцатого. Пожалуй, пора? — спрашивает одна.

— Для того, за чем мы приехали, все часы одинаковы, — спокойно отвечает другая.

Это философское замечание возбуждает восхищение Кико; положительно, приезжие из другого мира, особенно эта, такая рассудительная; она говорит кратко, голосом, похожим на музыку, не допускает возражений и движется, ходит и смотрит вокруг, как должны двигаться, ходить и смотреть королевы на тронах; лонистине, она внушает почтение, хоть и такая худенькая телом... Тише, вот она опять говорит!

— Далеко отсюда до дома доня Габриэля Гутьерре де-Веласко?

Общее изумление. Из Мадрида! В замок! И спрашивают синьорито? Несомненно, они приехали по тому «делу». Восторг Кико сразу поднимается еще на ступеньку от презрительной простоты, с которой приезжая назвала замок «домом». Никто не отвечает сразу, так велико общее изумление; приезжая повторяет вопрос.

— Нет, недалеко; с четверть часа ходьбы; вон там, пройдя каштаны, за церковью.

— Можно проводить? — бормочет Кико.

Им не нужно провожатых, но они любезно благодарят.

— А в котором часу дилижанс уходит в Сантандер?

— Вечером в шесть. Он об'езжает всю долину. Путешественницы удаляются на совещание.

— Самое лучшее, — говорит Мариана, — остаться тебе здесь и подождать меня.

— Как же ты пойдешь одна? — протестует Инеса.

— Что же со мной может случиться? Мать не запугает меня, как своего несчастного сына, как бы горда она ни была...

— А если тебя не примут?

— Я и не говорю, что меня примут, но что меня выпустят, за это я ручаюсь. А ты оставайся здесь и закажи нам пока обед. До свиданья.

— До свиданья. В добрый час!

Мариана выходит из таверны и идет быстрым шагом. Она красивее, чем когда-либо, и стала женственнее, она несколько побледнела от болезни, но свежий деревенский воздух румянит ее щеки, — свежий деревенский воздух, который она вдыхает полной грудью.

Как прекрасно выздоровление в молодости! Как отрадно телу возвращающееся здоровье, и как веселит его ласка солнца, света и голосов, и аромат воздуха, и вкус хлеба, и свежесть воды... и как торопится жить тело, едва не превратившееся в прах! И дух, тоже словно только что родившийся, носится по дому с ребяческой радостью, и заглядывает в окна глазами, дивящимися тому, что они видят, и распахивает двери уст, чтобы сказать неожиданные и ласковые слова, и напевает в уши отголоски новых мелодий, и волнует грудь вдохновенными порывами, и побуждает ноги к широким шагам, а руки к щедрым дарам. О, какое наслаждение возвращаться к жизни на утраченной жизни!

Весь этот мощный расцвет волнует сегодня кровь Марианы; кроме того, в груди ее поет новая нежность материнства; она почти не видела своего ребенка, но эта неясность говорит ей, что и тело и душа ее стали матерью; и волнение ее усиливается от неведомого ей очарования деревенского утра. Какой кристальный воздух, и какой дивный запах, какое теплое осеннее солнце, и какая странная тишина, хотя в ней так много звуков, и какое спокойствие... Как зелены деревья, как сочны даже те, на которых уже начинают умирать листья, как чисто вымыта и гладко причесана трава, и как светла вода в ручьях! На высоком дереве с дрожащими листьями свистит птичка; свистит, как флейта. А эта медно-красная корова, как она лоснится и как медленно идет, мерно помахивая головой: почему здесь она не бонится коров? А вот вдали прозвучал голос ребенка, звонкий и ясный! Здесь все ясно, даже самый дым, выходящий из трубы; он не черный или грязно-белый, как в Мадриде, а го-

лубой и легкий, легкий — и так спокойно расходится в воздухе. Мариана, неизвестно почему, думает о спящем ребенке. И вдруг ей вспоминаются слова Габриэля при первой их встрече в Мадриде: «Я хотел бы повезти вас на мою родину, чтобы вы увидали красоту»... И вот она на его родине, и видит, что тут, правда, очень красиво, но ведь он изменил ей! — Что-то делает, о чем думает или мечтает этот несправимый мечтатель? — Глаза ее наполняются слезами. — Странно, — думает она, — я на него не сержусь, а мне только жаль его! — И она жалеет, что не спросила о нем лавочницу. — Может быть, он болен? Может быть, умер? — Нет, не умер, ей бы сказали, когда она назвала его имя; но наверное грустен, страдает от кошмаров и сердцебиения в этом старом доме, как он столько раз рассказывал; и кричит по ночам, и никто не прибегает, и боится закрыть глаза, и нет возле него никого, кто закрыл бы их ему поцелуем... двумя поцелуями, которые он так любил. И наверное он зовет «Мариана! Мариана!» тем же нетвердым и робким голосом... лаская самый звук этого слова. Во что бы ни стало, надо увезти его отсюда!

Это было первой мыслью Марианы, когда она вернулась к сознательной жизни: поехать за ним, вырвать его из мрачной печали его жилища, увезти его к себе, к себе... и увезти сына. Потом будет видно, как они будут жить; важно быть вместе и быть веселыми; руки у нее, слава Богу, есть, и здоровья хватит на то, чтобы зарабатывать хлеб на всех троих; на деньги, которые оставила мать, она откроет белошвейную мастерскую, гладильню, все равно что, — и наверное что-нибудь да выйдет; а рядом с ней, от ее сме-

ха, Габриэль вылечится, — конечно! и станет человеком, будет тоже работать, и все они будут счастливы, а когда Бог приберет маркизу в рай, который она считает, что заслужила, они будут приезжать на лето сюда, потому что, правда, здесь очень хорошо.

Мариана смеется над собой. — Вечно фантазии, — думает она и опять смеется. — Незадачливая мы пара; оба то и дело уносимся в облака, только он в печальные, а я в веселые. Господи, какой этот замок мрачный вблизи! Он похож на тюрьму королевы в той драме, которую мы видели в Новом Театре. И ворота с гвоздями! Ну, что ж, мне все таки не страшно! Посмотрим, сделается ли у меня сердцебиение. Куда же здесь идти?

Она останавливается, несколько смущенная: смотрит на каменную стену, на черные решетки, на молотки, такие большие и подвешенные так высоко. Замок похож на настоящий замок, а эти два дерева: — она не знает, как они называются, — словно два часовых, смотрят на нее злыми глазами. И какое гробовое молчание! Она не решается постучать. Лучше обойти здание, может быть, кто-нибудь встретится. Одно, два, шесть окон, и все затворены; по другую сторону подъезда столько же, и тоже все закрыты... А вот забор... должно быть, сад... какой высокий... Калитка... если бы был молоток!

Ища молотка, она проходит, и калитка, только притворенная, распахивается. Да, это сад. Никого нет... войти? Да, в эту калитку, которая обыкновенной величины и не внушает такого почтения... Какой странный сад, без дорожек, а земля вся зеленая, и кипарисы, как на кладбище, и пруд, весь позеленевший, и слезливый фонтан,

и множество сухих листьев на воде! Где она видела такой сад? Ах, на Монклоа, у левого спуска, и еще всегда этот уголок вызывал в ней тоску. И теперь тоска, как гвоздь, засверлила ей сердце. Ах, Боже мой, как грустна бывает иногда жизнь, сколько ни стараешься смеяться!

VI.

Габриэль три дня живет в мучительном беспокойствии. Что-то — он не знает, что именно — пробудило его против воли от грустной летаргии, в которую он был погружен; кто-то зовет его, неизвестно откуда, но надо идти, хотя дорога и неизвестна, потому что голос настойчив и властен. Властен и нежен — ах, если — б его послушаться! Он уже пытался несколько раз выходить из дому, но в открытом поле — куда идти? Долина полна враждебной красоты, склоны слишком далеки, группы деревьев разбросаны редко, так же редки и дома; душа теряется в таком широком пространстве, шаги колеблются, не зная какое выбрать направление, глаза туманятся; лучше вернуться в заточение, в стены дома, в ограду сада, под охрану кипарисов; ограниченное пространство дает как бы ощущение некоторой интимности; в убаюкивающем покачивании гамака кроется широкая меланхолическая ласка, и под ее защитой можно закрыть глаза и не думать. Но мысль тревожится: идея, воспоминание, надежда хотят выбиться наружу, и болит обнаженная земля. Ах, если бы чья-нибудь рука прекратила неизбывную засуху, открыла выход страдающему ростку! Если бы чей-нибудь голос произнес слова, которых не может оформить бесплодный мозг. Если бы чья-нибудь рука взяла его руку, и чья-нибудь воля направила его нерешительные

шаги! Мимолетным светом улыбается надежда, отзвук голоса обещает, призрак ласки умиротворяет, тень руки охраняет. Но чей это голос, чья ласка и чья рука, и где же они?

В это утро тревога мучит его, как никогда; он не может грезить, сердце его безумствует от страстного нетерпения. Нужно, чтобы кто-то пришел, он наверное придет, несомненно, должен прийти. Но кто? кто? кто? — спрашивает себя несчастный и без конца повторяет этот вопрос, шагая по саду.

Кажется, будто фонтан умолк, будто деревья перестали шептаться вершинами, будто перестали петь, свистать и ворковать птицы. Что-то должно случиться огромное и решающее; кто-то должен войти в сад и принести ожидаемое слово. Вот он уже приближается. Но кто это?

— Мариана!

— Габриэль!

Бесконечное обаяние и страстные слезы.

— Мариана! — Вот слово, идея, мысль, которые столько часов и столько дней он тщетно искал.

Они не удивляются, что опять вместе, это естественно и было неизбежно: для чего же они родились? И обаяние не кончается, потому что Габриэль плачет, как дитя, а она утешает его, целуя в глаза.

— Ты пришла, пришла. Я не мог вспомнить ни тебя, ни твоего имени. Но я ждал тебя, твоего голоса, твоих рук... Я сердцем чувствовал, что ты идешь, но не знал, кто ты.

Она как будто не удивляется его бессвязным словам: всего этого она боялась, все предвидела... Конечно, он почти сошел с ума из-за нее, и она ручается, что вернет ему разум.

— Да, я приехала, приехала. Как же я могла не приехать, зная что ты здесь? Как только встала с постели... я ведь была очень больна, знаешь чуть не умерла. Только не захотела умереть, хотелось еще побыть на свете, — пока ты жив... ты и он... мальчик. Где он? Где мой сыночек?

Она говорит быстро, стараясь скрыть волнение, и улыбается — стойкая душа.

Габриэль, слушая ее, точно возвращается на землю из какого-то далекого мира; сначала он улыбается, потом вздыхает, наконец, вспоминает.

— Прости меня, Мариана, прости. Я не знаю, как, когда я попал в этот дом.

— Важно знать, как и когда ты выйдешь отсюда? — Глаза Габриэля вспыхивают счастливой надеждой. — Потому что ты, конечно, уедешь со мной.

— Конечно! — вздыхает он, и свет, зажженный ее первыми словами, гаснет.

— Непременно! — энергично повторяет она. — Со мной и с твоим сыном. Где он? У кого?

Габриэль молча идет, она следует за ним; они обходят пруд, минуют мрачную кипарисовую аллею, проникают в лабиринт буксовых кустов — какой мрачный сад, и какая мука идти по сухим листьям за этим человеком, который идет молча и как лунатик! — Они выходят на площадку под каштанами, где висит гамак, и стоит колясочка. Мариана приближается с страстным волнением, хочет взять ребенка, но останавливается: он спит так тихо, сладко, и похож на королевского сына в лентах и кружевах. Странно: она думала, что при виде его у нее разорвется сердце от любви, от рыданий, от слез, что она осыплет его поцелуями, схватит его порывисто, как в романах, ко-

торые она читала, всегда делают отвергнутые матери, когда, наконец, находят своих детей... а у нее сердце спокойно, и слезы не подступают к глазам. Малютка внушает ей какое-то почтение, она не решается дотронуться до него, только смотрит на маленькое личико, на темные волосики, выглядывающие из-под чепчика, на ротик, чуть-чуть побольше маленькой землянички... и смотрит на все это равнодушно!

— Это мой сын... мой сын... — повторяет она, и слова не вызывают в ней представления об обладании, привязанности, нежности... — Наверное, я дурная мать, и у меня не женское сердце... Это мой сын, а я так спокойна, так равнодушна. Это мой сын, а я даже не знаю, как его зовут... и не умираю от радости, что вижу его.

— О чем ты плачешь, Мариана? — говорит Габриэль.

Плачет? Она плачет? Да, конечно; слезы потоками струятся по ее лицу. Разве может тело плакать, когда об этом не знает душа? — Мой сын! Мой сын! — она уже сознательно начинает рыдать, становится на колени, припадает к личику ребенка, целует его и оmyвает своими слезами; и малютка, почувствовав, вероятно, во сне теплоту влаги, шевелит губками и впивает, как молоко, материнские слезы.

— Мариана, Мариана! Какие мы несчастные!

— Несчастные! — говорит она, вставая, и смотрит на него, держа на руках ребенка. — Почему? Разве мы оба не живы? Разве ты меня не любишь? Разве я не люблю тебя? Разве перед нами не вся жизнь?

Габриэль вздыхает.

— Перед тобой, да.

— И перед тобой тоже; наш дом ждет нас. Увидишь, какою может быть жизнь при труде и любви... когда он родился, солнце так и лилось в окно... а когда я была больна, все время лил ливнем дождь. Но, милый мой, едва я раскрыла глаза, появилось и солнце, ты, ведь, знаешь, мы с ним добрые приятели! Несчастные! с таким-то сыночком, который будет вылитым портретом своей матери и будет только смеяться, потому что плакс довольно в доме и одного! Посмотри-ка на это лицо! Какие грустные глаза. Впрочем, я знаю, что с тобой сейчас происходит: ты ревнуешь к маленькому, потому что теперь все ласки будут для него... для него одного... но если ты будешь хорошо вести себя, то и тебе перепадет кое-что. Правда, сынок, мы будем немножко любить твоего папу? Посмотри, посмотри, какое у него похоронное лицо! Стоило приезжать на свою прекрасную родину, чтобы так побледнеть и похудеть! А я-то думала, что здесь все гуляют по Божьим лугам, пьют молоко, едят фрукты и поют. Да, да, прекрасные места, в садах деревья, как на кладбище! и эта зелень перешла на лицо твоего милого папочки. Счастье, что сегодня же вечером мы увезем его в Мадрид, правда, сыночек?

Мальчик проснулся и открыл черные глаза, она целует его и протягивает отцу, потом обнимает его одной рукой за шею и добросовестно делит веселые поцелуи между двумя своими любимыми... двумя своими детьми, как она говорит. И смеется, смеется, и все счастливое прошлое вновь расцветает в душе Габриэля от росы этого кристального смеха...

Потому что в нем, в этом смехе, незабвенные июньские ночи в Мадриде, под бархатным, си-

ним и звездным небом, с напоенным запахом акации, жимолости и сырой земли воздухом... И ясные мартовские утра, когда на улицах пахнет жареным кофе, а на Кастильяно лежит легкая дымка, серебрящаяся на солнце, а подстриженные деревья начинают выбрасывать почки. И январские дни, когда земля тверда и звонка от ночного мороза, а в воздухе, колючем от холода, смеется солнце... И октябрьские сумерки, пламенеющие на закате, когда сады ярко желты от мертвых листьев, еще не упавших с деревьев, потому что воздух мягок и недвижим.

В ночи, утра, сумерки и полдни, летом, весной, осенью и зимой — всегда звенел ее смех, и весь круговорот года, в ореоле счастья, показывая Габриэлю пасхальным утром. Ах, звон колоколов в прозрачном воздухе, смех на алых гудках, поцелуй за смех, и сердце, готовое с ликованием вырваться из своей башни!

— Да, дорогая, да, ты права, мы уедем сейчас же. Милый Мадрид! И я буду работать для тебя, как негр, и буду любить тебя, как безумный, и мы будем счастливы, как никто...

— Да, да, как никто. Что с тобой?

Она почувствовала, что он вздрогнул, и увидела, что на лице его гаснет счастливая улыбка. Следя за направлением его взгляда, она повертывает голову и встречается с хмурым лицом худой, смуглой женщины, одетой, как монахиня.

— Твоя мать! — говорит она, тоже слегка бледнея... Габриэль наклоняет голову. Мариана немного отодвигается от него, но не выпускает его руки.

Синьора маркиза наблюдает их с негодованием, смешанным с немалым любопытством и некоторым изумлением; она подошла медленно и уже

несколько минут стоит здесь... Вот она страсть, — думает она, — преступная любовь черная и гнусная бездна, пучина мерзости, словом, грех и смерть... и, однако, эта женщина смеется, как дитя, и глаза у нее блестят, и она говорит своему сыну и моему такие же ласковые, нежные, простые и невинные слова, какие говорят другие матери своим сыновьям, рожденным под покровом Божественного закона... и звонко целует их среди бела дня, не таясь и не мучаясь угрызениями совести, как будто поцелуй и слова исходят из самого чистого источника любви... Так Лукавый принимает образ ангела света! — вспоминает она фразу из какого-то аскетического сочинения и старается вызвать в воображении пример дьявольских превращений, но сколько ни ищет, не может припомнить, чтобы Сатана, задумав погубить чью-нибудь душу, принимал образ нежной матери. Однако, преступление очевидно, и надо спешить исправить зло...

— Габриэль, — говорит она строгим голосом, подходя ближе.

— Синьора! — прерывает Мариана, становясь между матерью и сыном, — синьора, примите во внимание...

— Мне нечего принимать во внимание, и я говорю не с вами.

— Это все равно, синьора.

— Ах, вот как, — говорит высокомерно маркиза, — вы решили, что это все равно? Мне очень жаль, но я с вами не согласна. — Мариана делает досадливое движение. — Вам это не важно, не правда ли?

— Мне важно, — говорит Мариана с видом царствующей королевы, — только спасти Габриэля и моего сына.

Синьора иронически улыбается.

— В этом мы сходимся, — говорит она. — Вы хотите его спасти, я тоже; теперь нужно только узнать, от чего вы хотите спасти его... и как?

— От чего? — страстно восклицает Мариана. — От чего! Неужели вы не видите на его лице смерть? Неужели вас не ужасает это тихое безумие в его глазах? От этого я хочу спасти его: от смерти, от безумия, от тоски. Как? Когда он был со мною, он был здоров и бодр, и счастлив!

— Не будем лучше говорить о том, что было, когда он жил с вами.

— Почему синьора? — горделиво говорит Мариана; — какое зло причинила я вашему сыну?

— Ваша совесть не говорит вам этого?

— Нет, синьора, нет.

— Разумеется, — вздыхает маркиза.

— Но я желала бы это знать, скажите мне! Какой вред причинила я Габриэлю? Вы не говорите, так я скажу сама, может быть, дело будет яснее.

— Оно не станет чище.

— Чище золота, синьора маркиза, — возражает Мариана, вкладывая в два последних слова все презрение мадридской простолюдинки к высшей аристократии. — Извольте знать, что до того дня, как я встретила с вашим сыном, я не любила ни одного мужчины, ни из-за кого не плакала, и ни до кого мне не было дела, это первое; я жила на свой заработок и была весела, и, славу Богу, все это при мне и осталось, и если я сблизилась с ним и полюбила его, то потому, что мне было жаль его, синьора, и досадно было видеть человека, до такой степени полного грусти, страха и тоски, что при здоровом уме, молодости и богатстве, он завидовал бедной девушке... и никогда не смеял-

ся в двадцать два года, синьора, и не знал, в какую сторону ему идти, если его не тащили за руку. Он меня полюбил, ну чтож? разве я тоже не люблю его? Он жил со мной. С кем-нибудь ему надо же было жить, раз те, кто его пустили в свет, не научили его жить одному; он жил со мной, но я жила своей работой, слышите? и давала ему задаром свою любовь, и солнце, и поцелун и здоровье, и жизнерадостность. По вашему, это мало?

— Он губил себя из-за вас! — мрачно проговорила маркиза.

— Губил! Благодарю покорно!.. Губил, ангелы святые! А я не губила себя ради него?

— Вы тоже не имели права губить себя.

— Даже для того, чтобы спасти его?

— Ни для чего в этом мире.

— Вот видите, какая разница: вам кажется, что я не имела права, а я считала, что это мой долг. Он лежал у моих ног, полумертвый, и говорил: «Мариана, я не хочу жить без вас!» я видела, что это правда, подняла его и ответила: «Ну, чтож, давайте жить вместе!»

— В смертном грехе.

— Разве любить грех?

— Вне брака — да!

— Обвенчаться недолго! — сказала Мариана, полуобернувшись к Габриэлю.

Маркиза бледнеет от гнева; голубая кровь десяти поколений кипит от негодования в тощем теле. Авантюристка раскрыла свои карты! Обвенчаться недолго! Конечно, для дрянной женщины, желающей прикрыть свое распутство благородным гербом Гутьерре де-Веласко, это выход не плохой! Игра ясна; хитрая женщина, безволь-

ный мужчина, весь арсенал чувственных и сентиментальных ласк, вся неизменная любовная ложь для того, чтобы добиться имени и состояния...

— Обвенчаться с моим сыном! Этого вы решились добиться, не правда ли? — говорит она, меряя взглядом Мариану с головы до ног.

— Я ничего не желаю добиться, синьора, — я уже сказала вам, что все, что я делала, я делала даром, из любви; это вы заговорили о свадьбе, а мне все равно. Габриэль любил меня, я любила его и надеюсь попрежнему любить; если мы обвенчаемся, мой сын будет маркизом, если нет, может быть, он будет плотником или председателем совета министров или президентом республики, — за тридцать лет многое изменится на свете. Во всяком случае, ручаюсь вам, что он будет мужчиной, не будет бояться призраков, и если когда-нибудь полюбит женщину, то сумеет защищать ее и свою любовь против всего мира, хотя бы это стоило ему жизни!

Молодая женщина очень красива в эту минуту, она вся трепещет от волнения, глаза горят, щеки пылают, она крепко прижимает сына к груди. Маркиза смотрит на нее с невольным одобрением, потому что она тоже женщина сильная и знает цену силе.

— Милая моя — говорит она, несколько смягчая голос, — простите меня, если в моих словах было что-либо обидное для вас. Я вполне готова признать ваше бескорыстие и даже любовь, которую вы питаете к моему сыну, но именно, если вы любите его бескорыстно, вы должны понять, что самое лучшее, что вы можете сделать, это устраниваться с его пути.

— Но ведь он тоже меня любит.

— Подумайте, что он добровольно покинул вас.

— Я нужна ему.

— И все это время он не выразил желания вернуться к вам, даже написать вам.

— Так что вы думаете, что он согласится жить без меня?

— Это должен решить он сам. Габриэль, сын мой...!

Печальное зрелище представлял благородный отпрыск благородного рода, прислонившийся к стволу каштана, мертвенно бледный и смотрящий, как затравленный зверь, на обеих женщин, оспаривающих друг у друга его душу.

— Габриэль, сын мой, — повторяет мать, — ты решишь, что тебе делать. Эта женщина утверждает, что ты не можешь жить без нее; чистота твоего имени не позволяет тебе отдать его женщине, не сумевшей сохранить свою честь; чистота твоей совести не позволит тебе жить с ней вне закона.

— Габриэль, — тихо и печально говорит Мариана, — я пришла умолять тебя ради тебя, я сумею плакать одна, как умела смеяться; но ты умрешь, если останешься здесь, умрешь от тоски и страха, ты уже умираешь...

— Мариана, Мариана! — всхлипывает Габриэль.

— Сын мой, — резко говорит мать, — никто еще не умирал от того, что исполнял свой долг. И хотя бы ты прожил с нею века, какая польза будет тебе от этого, если в конце концов ты должен будешь умереть, проклятый Богом и родной матерью!

— Габриэль, вспомни все.

— Слушай меня, подарившую тебе жизнь, — говорит мать.

— Слушай меня, готовую отдать свою жизнь за тебя, — говорит возлюбленная.

Несчастный прижимает руки к груди и падает на землю. Обе женщины с минуту смотрят друг на друга в молчании. Наконец, Мариана говорит:

— Синьора, да простит нам Бог то зло, которое мы делаем, желая сделать добро.

— Да, — глухо говорит маркиза, — да простит нам Бог. — И опускается на колени, чтобы приподнять бесчувственного сына. Мариана вздыхает, долго смотрит на Габриэля, потом поворачивается и отходит, держа на руках ребенка.

— Куда вы идете? — спрашивает маркиза.

— Домой к себе... Что мне здесь делать? Габриэль погиб навеки. Прощайте, и пусть совесть никогда не упрекает вас за то, что произошло сегодня.

— Оставьте ребенка, — говорит маркиза; — мы воспитаем его, как подобает, и научим уважать свою мать; я обещаю вам, что вы будете часто видеть его.

— Нет, синьора, нет, — серьезно отвечает Мариана, — сын за сына; как вам дорог ваш, так мне дорог мой, и будет так, как я решила. Скажите его отцу, что я взяла его, и что если когда-нибудь ему захочется отыскать нас, то мы будем ждать его... без надежды... но с раскрытыми объятиями.

И медленно, не обернувшись ни разу, она уходит царственной походкой, не позволяя себе плакать, хотя сердце ее разрывается при мысли о несчастном, продолжающем лежать под тенью кипарисовой аллеи. Да, как печальна бывает иногда жизнь! Но для тебя она не будет такою, сынок, потому что ты мужчина и будешь сильным, ручаюсь тебе в этом!

— Мариана, Мариана! — стонет Габриэль, возвращаясь к жизни. — Мариана, Мариана! Где ты?

— Она ушла, сынок, — говорит маркиза, нежно лаская его, пожалуй, в первый раз в жизни, — но не огорчайся, твоя мать с тобой.

Он заливается нескончаемыми слезами.

VII.

В полночь замок Гутьерре де-Веласко безмолвен, как само молчание; давно уже погасли в нем все огни, и заперлись все двери, и, повидимому, все обитатели его спят.

Спит синьора маркиза, хотя молитвы и покаяние сегодня задержали ее дольше обыкновенного; спит старый гувернер в невинности своей учености; спит прислуга мирным сном без сновидений. Габриэль не в силах заснуть, одевая и ходит, садится, и опять ходит и садится, открывает окно и смотрит в поле, и ничего не видит, потому что ночь темна, и долина как будто погрузилась в ничто. Даже звезд нет на небе. Оно облачно; воздух влажен, и ветер стонет в деревьях. Только в деревьях? Габриэлю кажется, что и в его сердце такая же тьма, и пустота, и стон, что, хотя губы и молчат, боль говорит собственным голосом; и одним своим существованием стонет и жалуется. Так фимиам в жаровне безмолвно возносит к небу свой дымный и ароматный голос... Ах, сердце!

В конце концов, жизнь так коротка, и может быть, мы вовсе не ответственны! Эта мысль приходит в голову Габриэлю каким-то странным образом, помимо всякого умышленного рассуждения; разумеется, он не думал ни о чем, и всего мень-

ше о проблеме своей моральной ответственности; слова явились извне, как будто произнесенные кем-то в ночи, и он услышал их, не поняв сначала. Только повторив их через минуту, он смог вникнуть, сквозь звук их, в смысл. — Может быть, мы неответственны! — И он почувствовал бесконечную веселость, словно полное освобождение. — Неответственны! Да, так должно быть; жизнь захватывает нас, уносит, увлекает, как ветер пыль. И хотя дорога трудна, а толчок был силен, какое успокоение чувствовать, что тебя бесповоротно подхватило и понесло, закрыть глаза и не сопротивляться... потому что почти все зло зол заключается в противодействии, которое мы оказываем, желая избежать их... Неответственны!

Габриэль выходит из комнаты, осторожно минует коридоры, спускается с лестницы. Так как совесть побеждена и признана бесполезной, то он может пойти туда, куда зовет его желание; но дверь заперта на столько замков, цепей и засовов, что никому не отпереть ее впотьмах. И он грустно уходит обратно. В его комнате свет слабо мерцающей лампадки бросает такие странные и резкие тени, что весь воздух как будто наполнен шелестом крыльев черных зловещих птиц; невидимые летучие мыши задевают за лицо Габриэля, темные крылья ударяются о его лоб, глаза, рот, потом натыкаются на стены, на мебель, падают на пол, ушибаются, и безмолвные, в котором они ударяются и падают, без сомнения, самая невыносимая пытка для боязливой души. Он не может даже крикнуть, чтобы позвать на помощь, ужас совершенно парализует его, и в крушении сознания у него остается только одна мысль: уйти отсюда, бежать!

По счастью, балкон невысок, и под ним окно с решеткой. Мальчиком Габриэль никогда не спускался в сад иным путем; механическая память помогает ему найти прежние точки опоры для рук и ног. Когда он выходит в сад, лампадка совершенно гаснет. Какая глубокая ласка в темном и влажном ночном воздухе! Ветер продолжает жаловаться. Габриэль идет, идет быстро, довольный тем, что он считает свободой. Мир уже принадлежит ему, и скоро он будет там, куда зовет его сердце; но теперь, когда он решил уйти, каждая минута кажется ему столетием, он хотел бы иметь крылья, как ветер, как судьба... Что это за звук? Это лошадь заржала в конюшне, почуяв хозяина. Габриэль благословляет лошадь за ее так кстати явившийся призыв... На коня и как можно скорее! Быстро седлается лошадь, и быстро вскакивает на нее всадник. В садовой калитке замок некрепкий... вот и долина!

Мрак расступается, давая путь скачущему, и снова замыкается за ним; ничего не видно; группы деревьев и постройки — более темные тени в гени, и очертания их скорее угадываются, чем видимы глазом; ветер крепчает. Лошадь скачет карьером; в домах и на фермах лают собаки, им отвечают другие, и ночь содрогается от неимоверного предательского лая. Так, по крайней мере, кажется всаднику, прищипывающему коня, чтобы ускакать раньше, чем проснется вся деревня; он убежден, что вся деревня бросится преградить ему путь, взять его в плен, запереть навеки... навеки и далеко от его любви. И он призывает, как заклинание, ее имя: Мариана, Мариана, Мариана!

Призрачный конь, безумный всадник! возле «говорилки», должно быть, водятся ведьмы. Пах-

нет серой. По счастью, собаки умолкли, но вот замычала корова. А ветер-то, как плачет! Ущелье! Что это мокрое падает на лицо? Начинается дождь, сначала тихий, потом проливной, и ветер, завладев водою, бьет ею в лицо Габриэлю, слепит ему глаза и оглушает его. Скоро склоны гор превращаются в бурные потоки; дождь льет и льет, вырывая траву и камни, земля превращается в трясину, и по ущелью бежит река. Начинается безумная борьба: лошадь упирается, хочет вернуться в открытую долину, домой; всадник гонит ее вперед, он тоже хочет выехать из ущелья, но только с другого конца, впереди, на дорогу, ведущую к жизни. Хоть бы взошла луна, хоть бы показалась звезда! Но ночь темна, как бывают темны ночи в деревне, а ветер и дождь еще сгущают тьму. Ущелье грозно шумит. Лошадь делает скачок и поднимается на дыбы, она обезумела от страха, как всадник обезумел от упрямства, и в борьбе этих двух безумий проходят не то минуты, не то века. Потом во мраке слышится жуткий крик, и бешеный топот коня разносится по всей долине.

Рассветает; ветер упал, и дождь прекратился; долина, умытая, зеленая и ясная, в коротком покае вкушает благословение Божие, снизошедшее на нее ночью. Правда, по ущелью и улиям вода еще бежит ручьями, но течение их стало медленнее, и они почти не шумят. Воздух, чуть-чуть туманный, как будто силится улыбнуться бледно-голубому небу, на котором не осталось ни единого облачка. На западе слабо розовеет узенькая полоска. На колокольнях звонят к ранней обедне, и над трубами кое-где показывается дымок. В замке Гутьерре де-Веласко кто-то испуганно просыпается, услышав ржание и бешеный топот ко-

ня у ворот. Ворота отпирают; лошадь без уздечки, с сломанным седлом, покрыта грязью. Кто выпустил ее ночью?

В комнате Габриэля открытый балкон, разбитые ветром стекла, вода, проникающая в распахнутую дверь и лужами стоящая на полу, раскрывают печальную истину. Где сын? Его взял ад, унесли ведьмы, похитила смерть... об этом говорит бешеная лошадь, вернувшаяся одна. Но где он? Собрать людей, просить помощи, обыскать всю долину, чтобы найти, живым или мертвым, последнего Гутьерре де-Веласко!... да скорее, утро уже на исходе... и без воплей и стонов... Так хотел Бог! Но только вернуть сына домой, живого или мертвого!

Тем временем к ущелью под'езжает телега, и сидящий на ней крестьянин поднимает крик. Люди из «говорилки» сбегаются узнать в чем дело. На земле лежит Габриэль. Он упал и при падении разбил себе голову. Лицо его блее полотна, потому что вся кровь его вытекала из раны; быстрая вода унесла ее и смыла все пятна. Можешь гордиться любовью! За тебя пролилась до единой капли вся кровь — неизвестно только, алая или голубая, потому что ее унесла вода!

Телега нагружена душистым сеном. На эту мягкую и ароматную постель благоговейно кладут тело. На лице уснувшего глубокий мир; он смотрит в небо и почти улыбается, убаюканный медленным покачиванием телеги, направляющей-ся по тихой долине к его родному дому.

Перевод с испанского

К. Жижаревой.

ОГЛАВЛЕНИЕ.

Предисловие Е. А. Френкель	5—8
Благословенная весна	9—20
Приключение	21—61
Башня из слоновой кости	62—123



Печатано в Берлине у Н. S. Hermann & Co.

00150

Напечатано
Книгоиздательским Отделом
Торгового Представительства
Р. С. Ф. С. Р. в Германии